

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

Перевод: Ромэн Ролан "Николка Персик". Владимир Владимирович Набоков

Святому Мартыну Галльскому,
покровителю города Клямси
Святой Мартын и пьян, и сыт всегда.
Пускай под мельницей бежит вода..
(Поговорка XVI века).

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Читатели романа "Jean-Christophe", вероятно, не ожидают новой этой книги. Она удивит их не более, чем удивила меня.

Готовил я иные произведения – драму и роман на современные темы, в несколько мрачном духе "Jean-Christophe". Мне пришлось внезапно отложить набросанные заметки ради беспечного произведения, о котором я и не думал накануне.

Оно как бы порыв свободы, после десятилетней неволи в броне "Jean-Christophe", которая, хоть сперва и была мне в меру, впоследствии стала слишком узка. Я почувствовал непреодолимую потребность в вольном галльском веселии, да, вольном до дерзости. К тому же возврат на родное пепелище, которого я не посещал с детства, снова сблизил меня с краем моим, с нивернейской Бургундией, и разбудил в душе целое прошлое, уснувшее, думал я, навеки, – всех Николок Персиков, таящихся во мне. Пришлось мне за них говорить. Проклятые эти болтуны еще не наговорились в жизни своей! Воспользовались они тем, что у одного из их правнуков оказалась счастливая способность писать (они часто мечтали о ней!), чтобы взять меня в письмоводы. Тщетно я уклонялся:

– Вы, дедушка, достаточно болтали на веку своем. Дайте и мне поговорить. Теперь мой черед!

Они возражали:

– Малыш, ты говорить будешь после. Начнем с того, что у тебя нечего рассказывать более занимательного. Садись, слушай, ни слова не пропусти... Ну-ка, внучек, сделай это ради меня, старика! После ты сам поймешь, после, когда будешь на месте нашем... Самое-то горькое в смерти – это, видишь ли, молчание...

Что поделаешь? Пришлось мне уступить, писать под диктовку. Ныне кончено, и вот я снова свободен (по крайней мере, я так полагаю). Примусь опять за прерванную нить собственных мыслей, если только иной из старых болтунов моих не вздумает снова из гроба встать, чтобы воспоминания свои передать потомству.

Не смею думать, что общество моего Николки столько же развлечет читателей, сколько развлекало автора. Пусть они все же берут книгу эту как есть, в ней есть круглота, прямота, не норовит она изменить или объяснить мир, ни политики, ни метафизики в ней нет, это книга чисто французская, что смеется над жизнью, потому что любит ее и чувствует себя прекрасно. Одним словом, как говорит Орлеанская Дева (не обойтись без ее имени в заголовке галльского рассказа), друзья, "prenez en gre", – не взъщите.

Май 1914

ЖАВОРОНОК В СРЕТЕНЬЕ
2 февраля

Слава тебе, святой Мартын! Дела не идут. Не стоит из сил выбиваться. Достаточно я поработал в жизни своей. Пора поразвлечься немного. Вот сижу у стола, справа – кружка вина, слева – чернильница, тут же тетрадь, новая, чистая, мне раскрывает объяття. За здоровье твое, дружок, – и давай побеседуем! Внизу, в доме, бушует моя жена, на дворе – зимний ветер дует. Говорят, будет война. Как радостно снова быть вместе, друг против друга, голубок ты мой, толстячок! (Тебе говорю, тебе, – рожа радужная, любопытная, рожа веселая, с длинным бургундским носом, посаженным криво, словно шапка ухарская...) Но что означает, скажи мне, пожалуйста, эта странная радость, – отчего мне так любо склоняться в одиночестве зорком над

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru своим старым лицом, беспечно блуждать по морщинам его, и, как из пьяных бочек моих (да ну их!) без передышки тянуть, в погребке сердца, вино старое воспоминаний? Еще можно, пожалуй, так грезить, но писать, о чем гредишь, – зачем! Грезить, – сказал я? Нет. У меня широко ведь открыты глаза, глаза кроткие и насмешливые, у висков в морщинки собранные. Пусть тешат других пустые мечтанья! Я же передаю только то, что сам видел, что сам говорил и делал... Не безумье ли это? Для кого я пишу? Уж конечно, пишу не для славы; я не темная тварь, знаю я цену себе, слава Богу! Для кого же? Для внуков своих? Но пройдет десять лет, и что от тетради останется? Ревнива старуха моя, – что находит она, то сжигает. Для кого же, ответь наконец? Ну так вот: для себя! Лопну я, коль не буду писать. Недаром я внук своего кропотливого деда, который не мог бы уснуть, не отметив пред тем, чтобы лечь, сколько кружек он выпил и сколько сблевал. Говорить, говорить я хочу, а в своем городке, на ристаньях словесных, не могу развернуться как следует. Все я высказать должен, – и подобен я в том брадобрею Мидаса. У меня слишком длинный язык. Если порою подслушают, мне не избегнуть костра. Но что же поделаешь! Будешь бояться всего – задохнешься от скуки. Люблю, как громадные белые волю, – пережевывать вечером пищу дневную. Как приятно потрагивать, щупать, поглаживать все, что за день ты поднял, заметил, подумал; как приятно облизывать, долго вкушать (так, чтоб таяла сладость на языке), смаковать бесконечно все то, чем еще не успел насладиться, все, что жадно ловил на лету! Как приятно дозором свой маленький мир обходить и себе говорить: я им владею. Здесь я хозяин и князь. Ни морозы, ни бури не тронут его. Ни король, ни Папа, ни враг. Ни даже старуха моя брызжащая.

Итак, перечислим теперь все, что есть в этом мире. Во-первых: самое лучшее из всего, что принадлежит мне, конечно, – он, Николка Персик, добрый малый, да бургундец, круглый нравом и брюшком, – и хоть юности не первой (что таить – шестой десяток!) – крепче дуба, целы зубы, взор – что свежая плотва, – и, сидя потихоньку, не лысеет голова. Не скажу, что, будь она белокурой, вид ее мне бы не нравился, не утверждаю также, что если бы вы предложили мне помолодеть на двадцать или тридцать лет, – я с отвращеньем бы отвернулся. Но все же целых десять пятисвечников – прекрасная вещь!

Смейтесь, смейтесь, юнцы. Не всякий, кто хочет, доходит до этого. Шутка ли сказать, – в продолжение полвека по всем я скитался дорогам французским, да в смуту еще... Боже! Как в спину нас жалили, друже, и зной и дожди! Нас природа то печь принималась, то мыть... И пекла же, и мыла же. Я – старый, смуглый мешок; чего только в него не совал я! На, выложи: горести, радости; тайные хитрости, жизненный ветер и жизненный опыт; солома и сено; виноградные гроздья и смоквы; много сладких плодов и немало зеленых; розы и плевелы; тысяча разных вещей, виденных, читанных, впитанных, – и пережитых. Все это кое-как свалено, спутано. Разобрать хорошо бы... Стой! Куда ты, Николка? Разберемся мы завтра. Если сегодня начну, никогда не dokonчу рассказа... Надо составить сперва краткий список товаров, которых я ныне хозяин. У меня есть дом, жена, сына четыре и дочь одна (слава Богу, замужем она), – один зять (нельзя было его не взять!), восемнадцать внучат, серый осел, пес, шесть кур да свинья. Вот как я богат! Напялим-ка очки, разглядим вблизи сокровища эти. Жена, дети – все так, но от дальнейшего осталось только воспоминанье. Войны прошли, прошли и друзья, и враги. Свинья просолена, осел сгинул, погреб выпит, курятник общипан. Но жена моя, но жена, – черт возьми – осталась она, осталась! Послушайте, как она орет. Ни на миг не могу позабыть свое счастье: она моя, моя, красавица эта, я – единственный обладатель ее. Эх, Персик, счастливый мерзавец! Тебе все завидуют. Так что ж, господа, хоть словечко скажите; отдаю, берите! Чем не хозяйка она? Женщина добрая, трезвая, честная – словом, все качества есть (только нечего есть, а я, грешный, признаюсь, что всем тощим добродетелям, вместе взятым, предпочитаю один пухленький порок... Впрочем, за неимением лучшего – будем добродетельны, так Бог велит). Ай, как она мечется, руками машет – Маша, угловатая наша! Весь дом наполняет телом своим долговязым, рыщет, хлопочет, рычит, бурчит, грохочет, гонит пыль и покой! Вот уже скоро тридцать лет, как мы вместе. Черт его знает, – отчего так вышло. Я любил другую, та только смеялась надо мной. Она же именно меня хотела, хоть мне не нужно было от нее ничего. В те дни была она тонкая, матово-бледная, темноволосая, с угрюмо-острыми глазами, которые, казалось, могли меня съесть живьем и жгли меня, подобно тому, как две капли водки выедают сталь.

Она любила меня, любила любовью погибельной. Измученный этими преследованиями (как глупы мужчины!), быть может, из жалости, быть может, из гордости, но पुще всего потому, что был утомлен, решил я (подшутил, верно, бес), чтоб от этих нападков отделаться, решил я (как тот балбес, что, спасаясь от дождика, в воду

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru полез) жениться на ней и – женился. С тех пор я у себя в доме содержу добродетель. И мстит же она мне, кроткое существо! Мстит за то, что любила меня. Она меня приводит в ярость, или, по крайней мере, так кажется ей. Но она ошибается. Я влюблен в свой покой и не так глуп, чтоб делать из ссоры повод для грусти. Идет ли дождь – я молчу. Гром ли гремит – свищу. Когда же кричит она – хохочу. И отчего бы ей не покричать? Неужто дерзаю я думать, что могу заставить молчать женщину эту? Где женщина – там и шум; а ведь смерти ее не хочу я. Она поет, и я пою: каждый из нас свою тянет песенку. Только бы не вздумалось ей заткнуть мне рот (она хорошо знает, как это дорого стоит). Ей же я позволяю щебетать. У каждого свои ноты.

Впрочем, хоть и не согласны струны наши, нам все же удалось исполнить несколько недурных вещиц: одну дочь и четырех сыновей. Все они крепкие, гибкие: труда, материала на них я потратил немало. Однако только в одном из птенцов, в дочери Марфе, я узнаю сущность свою. Ах, ах, попрыгунья! Сколько понадобилось мне терпенья, чтоб до берега брака ее довести без крушенья. Наконец-то! Теперь-то она успокоилась, – и хоть довериться этому все же опасно, но не мне говорить, не мое это дело. Достаточно я провозился с ней, ночей не спал. Теперь твоя очередь, зять мой, пекарь флоридор; пеки, опекай!... Мы с дочерью спорим при каждой встрече, но зато мы друг друга исключительно хорошо понимаем. Она славная девушка; даже в беспечных порывах ее есть какая-то рассудительность, она честная, прямая – в ней качества эти улыбочивы, ибо худшим считает она недостатком, что скуку наводит. Она не боится невзгод: невзгоды ведь это борьба, а борьба ведь – отрада. И жизнь она любит. Она знает, что в жизни хорошего есть. Я тоже, то кровь моя в ней говорит... Только, пожалуй, я расточителен был, сотворяя ее.

Сыновья же вышли похуже. Жена на своем настояла, и тесто не встало. Из них двое – ханжи, и, к довершенью всего, ханжество одного ненавидит личину другого. Первый все трется о черные юбки попов, лицемеров, второй – гугенот, сам черт не поймет, как случилось, что вывел я этих утят! Третий – бродяга-солдат, где-то скитается, где-то воюет, в точности где – я не знаю. А четвертый – ничего из себя не представляет, ровно ничего. Этакий торговый человечек, серенький, с душой овечьей, – ах, зеваю всякий раз, что вспоминаю о нем. Я породу свою узнаю, лишь когда мы сидим вшестером за столом, вооруженные вилками. За столом уж никто не спит, и во мненьях сходятся все. Это прекрасное зрелище: искусно работают челюсти, хлеб трещит, разрушается, в глотку вино, как в бездну поток, вливается.

Поговорим теперь о самом доме. Он тоже чадо мое. Я строил его медленно, по частям, и не раз перестраивал сызнова. Он расположен на берегу Беврона – ленивой, илистой, зеленой речки, – у входа в предместье, за мостом, что стоит, словно на четвереньках, над самой тиной. Напротив – башня святого Мартына, легкая, гордая, в платье кружевном, да пестрый портал, да старинные ступени церковные, крутые и черные, ведущие, скажешь ты, в рай. Лачужка моя, игрушка, стоит вне стен городских: а потому всякий раз, что с башни приметят врага на равнине, город ворота свои запирает, и враг приходит ко мне. Хоть я и люблю побеседовать, однако сдается мне, что без общества этого я бы вполне обошелся. Завидя врага, я чаще всего просто ухожу, оставляя ключ под дверью. По возвращенью случается мне не найти ни ключа, ни дверей. Тогда я строю снова. Мне говорят: Тупоголовый! Ты работаешь на врага, Брось лачужку свою, под защиту стен залезь. – Я ж в ответ: Куралесь! Хорошо мне и здесь. Знаю я, что за крепкой стеной будет полный покой. Но за крепкой стеной – что увижу я? Стену, и только. Буду чахнуть от скуки. Свобода нужна мне, размах, жить хочу королем на речном берегу своем, там работать беспечно, а после работ из садика долго следить вырезной хорювод отражений цветных на поверхности вод, и порою кружки – рыбы плевки, да кудрявые травы, что дышат на дне; в этой речке хочу и удить, и лохмотья мыть, и в нее свой горшок выливать. И то сказать: хорошо ли, плохо ли, – а жил я всегда там. Поздно менять. Все равно – хуже не будет. Вы настаиваете на том, что мой дом снова снесут? Возможно. Я же, добрые люди, не собираюсь заниматься зодчеством в продолжение вечности всей. Но, клянусь, коль засяду куда-нибудь, не легко сдвинуть меня. Дважды я перестраивал его, перестраивать буду и десять раз. Не то чтоб это весьма развлекало меня. Но в десять раз скучнее было бы переселиться. Я бы словно лишился души. Вы мне предлагаете другой дом – краше, белее, новее. Да ведь он примял бы меня, замучил, или же сам я взорвал бы стены: нет. Нет, предпочитаю жить здесь.

Теперь итог подведем: жена, дети и дом. Все ли владенья свои обзрел я? Нет, осталось еще кое-что – лучшее; приберег я его под конец. Осталось – мое ремесло.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Принадлежу я к братству святой Анны. Я – столяр. Несу я во время праздничных шестивий трость со знаком разножки и лиры, на котором изображена бабка Божия, objaсняющая азбуку малюсенькой дочке своей – тоненькой, нежной Марии. Вооруженный топориком, пилкой, стамеской, рубанком, я царствую у верстака над дубом упрямым, над орешником ровным. Что возникнет из них? (Это зависит от собственной прихоти, а также от платы.) Сколько образов скрытых и спутанных в дереве спят! Чтоб разбудить красавицу спящую, мне, как и принцу из сказки, достаточно только проникнуть в древесную глубину. Но та красота, которую будит мой струг, – не мишурная ветреница. Иным нравится какая-нибудь лишенная сочности долговязая Диана одного из этих итальянцев, мне же больше по душе наша бургундская мебель с прозеленью на бронзовых частях, крепкая, обильно-выпуклая, тяжелая, гроздистая, баул какой-нибудь огромный, пузатый или резьбой изукрашенный поставец, повторяющий суровое вдохновенье мастера Гуго Самбэна. В лепное кружево наряжаю дома. Развертываю звенья извилистых лестниц. Кресла, столы выбиваю из стен, как яблоки из листвы, – кресла, столы широкие и прочные, как раз заполняющие собой то место, которое я им предназначаю. Высшее же наслаждение я чувствую тогда, когда мне удастся на дереве запечатлеть что смеется в моем воображенье – беглое движенье, изгиб, ямочку на бедре, дышащую грудь, завиток веселый, вереницу цветов, тени пляшущие, преувеличенные, рожу прохожего, пойманную на лету. Но лучшее мое создание (приводящее и меня и священника в восхищенье) вы можете видеть в монтреальской церкви. Там вырезал я на скамье двух буржуа, которые, чокаясь и жуя, покачиваются над столом, и двух львов, вырывающих кость друг у друга.

Выпил, потом поработал, отработал – выпил опять – вот благодать! За собою я слышу упреки и ропот невежд. Они говорят, что для песен веселых выбрал я час неудачный, что горькие годы настали. Нет горьких времен, а только есть горькие люди – бьют они вечно тревогу. То да се, да не смейся, не пой. Не попутчик я им, слава Богу. Всюду бой да разбой. Ну что же, так будет всегда. Клянусь, чрез четыреста лет правнуки правнуков наших будут все так же, как черти, выщипывать шерсть друг у друга. Не скажу, что они не найдут сорок новых способов это делать, что драться будут они лучше нас. Но я совершенно уверен, что нового способа напиваться они не найдут, да не посмеют сказать, что науку эту изучили глубже, чем я.

Кто знает, что будут делать они, мерзавцы, через четыреста лет? Быть может, благодаря траве попа из Мэдона, великолепного Пантагруэлиона, им удастся исследовать области Луны, заводы молний, творила дождя, найти себе временное жилье на небесах и пировать с богами. Ну тогда и я с вами. Разве вы не семья мое? Роитесь, голубчики! Впрочем, там, где я теперь, как-то вернее. Как знать, будет ли через четыре столетия такое же доброе вино? Жена мне ставит в вину мою верность вину. Ничего я не презираю. Люблю я все, что по-своему вкусно, кушанья жирные, вина, могучие радости плоти и радости более мягкие, нежные, нежно-пушистые, которых вкушаешь мечтательно: часы неземного безделья, истинно творческие! (Ты властелин вселенной, молодой, и победный, и ясный. Сам ты весь мир создаешь, слышишь, как всходит трава, с лесом беседу ведешь, с зверьми, с богами.) И тебя я люблю, мой старый, верный спутник, мой друг, мой труд! Как приятно работать на верстаке, пилить, стругать, обрезать, вырезать, прибивать, подпиливать, перебирать, растирать красивое, крепкое дерево, и непокорное и послушное, – тело орешника, нежное, жирное, трепещущее под рукой, подобно плечам чародейки, – тела розоватые и молочно-белые, тела смуглые и золотистые, тела нимф лесных, обнаженных и обезглавленных! Отрада безошибочных рук, пальцев разумных, толстых пальцев, под которыми возникает хрупкое произведение искусства! Отрада духа, повелевающего силам земным, вкладывающего в дерево, железо или камень стройную прихоть своей благородной грезы! Я себя чувствую королем сказочной страны. Мое поле дает мне плоть свою, виноградник мой – свою кровь. Дух древесного сока, в угоду искусству моему, заставляет расти, разветвлять, упитывает, растягивает и округляет сучья и стволы тех деревьев, которые я буду ласкать.

Руки мои, как безропотные работники, подчинены старому другу-хозяину – мозгу моему, он же подвластен мне и осуществляет все, что только приглянется моей резвой мечте. Кто лучше обслужен, чем я? Я ль не волшебный король? Не имею ли полного права выпить за здоровье свое? И не забудем (я не из рода неблагодарных), не забудем также и здоровья наших верноподданных. Благословляю тот день, в который я родился. Сколько на этом вертящемся шаре чудных вещей, ласкающих весело взгляд и сладостно-свежих на вкус! Господи Боже, как жизнь хороша, как сочна. Обжираюсь, а все не могу я нажраться, вечно я голоден, должно

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
быть, это болезнь. Слюнки текут у меня всякий раз, что я вижу накрытый стол
земли и солнца.

Однако я хвастаюсь, кум: солнце умерло; в мире моем разгулялся мороз. Разбойник, он входит ко мне не стуча. Перо спотыкается в пальцах оцепеневших. Беда! Лыдинка образовалась в моем стакане, и нос мой выцвел: отвратительный оттенок, ливрея кладбищенская! Ненавижу все бледное. Эй! Встряхнемся! Колокола святого Мартына звенят и перекликаются. Сегодня – Сретенье Господне. “Мороз либо кончайся, либо крепчай”... Крепчает, подлец! Что ж, наберемся и мы сил. Выйдем на большую дорогу, встретимся с ним лицом к лицу.

Великолепный холод! Сотни иголок колют меня в щеки. На повороте ветер выскакивает из засады и схватывает меня за бороду. Я горю. Слава Богу, нос мой снова окрашивается. Люблю слышать звон скованной земли под ступней. Я себя чувствую совсем молодцом. Попадаются встречные, да все хмурые, понурые.

– Ну что там, ну что, соседка, кто вас так рассердил? Игривый ли ветер, вздувающий юбку? Прав он – молод: как жаль, что я сед, соседка! Он молод, хитер, он знает, куда укусить, он знает, что вкусно. Терпите, ведь всякому хочется жить. Но куда ж вы спешите – с бесенком живым под полой? К обедне? Laus Deo! [Хвалите Господа! (лат.)] Лукавого Бог победит! Будет смеяться рыдающий, будет кипеть замерзающий. Вы, я вижу, смеетесь уже. Значит, все хорошо. Куда я бегу? В Божий храм, как и вы. Только будет не поп служить, а солнце над чистым полем.

По дороге захожу к дочери, за внучкой своей, Глашей. Мы ежедневно совершаем вместе прогулку. Это мой лучший друг, овечка моя, лягушонка щебечущая. Ей шестой годок стукнул, она смысленей мышонка и лукавей лисички. Не успел я войти, как она уж бежит. Ей хорошо известно, что у меня есть котомка, полная сказок чудесных. Она любит их не меньше, чем я их. Беру ее за руку.

– Пойдем, маленькая. Пойдем жаворонку навстречу.

– Жаворонку?

– Сегодня – Сретенье. Разве ты не знаешь, что в этот день он к нам обратно прилетает с неба?

– Что он там делал?

– Искал для нас жар.

– Жар?

– Да, то, что на небе горит да накаляет чугуничик мира.

– А жар, значит, ушел от нас?

– Ну да, – на празднике всех Святых. Ежегодно, в ноябре, он идет согреть небесные звезды.

– Как же он возвращается?

– Три птички за ним посылаются.

– Расскажи.

Она семенит по дороге. На синичку похожа она – в этой теплой белой фуфайке и в голубом капоре. Ей мороз нипочем, но все же из ее короткого носика капает, словно из крана, а круглые щечки, как антоновки две, румяны...

– Ты смотри, сморчок, высморкайся, задуй свечку свою. Свет-то на небе вспыхнет.

– Расскажи, дед, про трех птичек...

(Я люблю, когда меня спрашивают.)

– Три птички пустились в дальний путь, три смелых дружка: королек, зарянка и жаворонок. Первый из них, королек, гордый, подвижный, живой, как Мальчик с

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
пальчик, примечает жар, чудный жар, что, подобно пшеничному зернышку, катится по воздуху. Налетает он на него да кричит: “Это я поймал, это я”; и другие кричат: “я! я! я!” Но уже королек схватил зерно на лету и падает вниз стрелой... “Пожар! пожар! Он горит!” Клюв закрыв, королек из угла в уголок зерно перекатывает, как комочек кипящей каши; нельзя дольше терпеть, почернел язычок; он зерно плюет и его кладет между крылышек...

“Ай, ай! Пожар!” Пламенеют крылышки (ты заметила эти пятна рыженькие, эти перышки вьющиеся?). Зарянка на помощь к нему спешит. Клюет жар-зерно и его кладет за свой шелковый ворот благоговеино. А ворот-то пышный как вдруг заалеет, зардеет. И зарянка кричит: “Довольно, довольно с меня – одежда моя сожжена!” Тут подлетает жаворонок, дружок храбренький, ловит пламя, как раз в то мгновение, как оно собиралось взвиться, чтоб на небо вновь возвратиться, ловит – и быстро, точно, легко и стремительно падает на землю и клювом зарывает в ледяную полевою борозду солнечное зернышко. То-то поля разомлеют!...

Я докончил рассказ свой. Теперь Глаша заквакала. При выходе из города, там, где дорога начинает подниматься в гору, я посадил ее к себе на плечо. Небо ровное, серое, снег хрустит под деревянными подошвами. Тонкие косточки деревьев вщедушных вдеты в мягкие, белые рукавчики. Дым синий дальних домишек струится вверх прямо и медленно. Ничто, кроме голоса внучки, тиши не тревожит. Мы достигаем вершины холма. У ног моих искрится город родной, опоясанный лентами Ионны ленивой, Беврона игривого, – зябкий, продрогший, в снежном уборе; но, хоть и весь он овеян морозною пылью, все же он греет мне сердце, когда я гляжу на него.

Город отблесков нежных – и плавных уклонов... Вкруг тебя переплелись, словно гнезда круговые соломинки, линии мягкие вспаханных скатов; удлиненные волны узорчатых гор рядами вздымаются зыбкими – синевя вдаль, как море... Это море не схоже с неверною бездной, что некогда чуть не сгубила Улисса. Ни бурь, ни течений коварных... Спокойно оно. Лишь порой дуновенье как будто вздувает грудь голубого холма. С волны на волну, не спеша, переходят дороги прямые и, как лады, за собой оставляют узкий светлеющий след. Дальше, над гребнем тех вод, Маделэн-Везлэ мачты свои возвышает. А вблизи, над излучиной Ионны змеиной, Басвильские скалы пробивают кустарник клыками своими кабаньими. На дне округленной долины мой город небрежно-нарядный наклоняет над влагой речною сады свои, крыши кривые, ожерелья свои и лохмотья, гармонию и грязноту удлиненного тела, – город мой, гордо украшенный башней своей кружевной...

Так я люблюсь той раковиной, из которой я вытянулся, подобно улитке. Колокола церкви моей наполняют звоном долину; их чистый напев разливается, как ручей хрустальный, в тонком морозном воздухе. Пока я блаженствую, вдыхая их музыку, полоса солнца вдруг прорезает серую пелену, скрывавшую небо. И в тот же миг Глаша бьет в ладоши и восклицает:

– Дед, я слышу! Жаворонок! Жаворонок!

Тогда я смеюсь – так меня радует светлый ее голосок. Я смеюсь и, целуя ее, говорю:

– И мне тоже слышится; да, – жаворонок, весна.

ОСАДА, или ПАСТУХ, ВОЛК И ОВЕЧКА
“Овца из Шаму:

достаточно трех, чтобы
волка задушить”.

Середина февраля

Погреб мой опустошается. Сегодня солдаты, которых герцог Неверский сюда послал, чтобы нас охранять, вздумали почать мою бочку последнюю. Не будем время терять – пойдем-ка с ними пить вместе. Если уж прогорать, так весело. Это не первый и, дай Бог, – не последний раз... Милые люди! Они еще больше огорчились, чем я, когда узнали, что уровень жидкости понижается. Среди соседей моих есть господа,

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru которые смотрят на все безнадежно мрачно. Я же больше не способен сетовать. Я пересыщен. Слишком много шутовских представлений видал я на веку своем, чтоб верить в искренность лицедеев. Какие только маски не проходили предо мной – и швейцарцы, и германцы, и гасконцы, и лотаринжцы, все воинственные звери, поработанные, вооруженные, глотатели серой шерсти, голодные гончие, всегда готовые погубить человека. Кто когда-либо ведал, зачем дерутся они? Вчера они за короля, сегодня за лигу. То они – папские холопы, то – гугеноты. Оба стана стоят друг друга. Лучший из них не окупает и петли виселицы. Не все ли нам равно, этот ли воришка или тот путается при дворе? И смеют они еще вмешивать Бога в свои дела! Клянусь брюшком рыбки, добрые люди: Бог не нуждается в вашей опеке! Он совершеннолетний.

Коль чесотка у вас – царапайтесь, но Бога оставьте в покое. Да и он обойдется без вас. Он, небось, не безрукий, захочет – почесется сам...

Но беда в том, что они думают и меня заставить обжуливать Бога!

Господи, я славлю тебя и верю, говоря без хвастовства, что мы с тобой встречаемся по нескольку раз в день, ибо добрая галльская поговорка гласит: “Кто под хмельком – тот с Богом знаком”. Но никогда мне не придет в мысль сказать, что я знаю каждый твой взгляд, что ты мой двоюродный брат, что мне вверены все твои намерения. Ты по справедливости должен признать, что я тебя не беспокою, – и прошу я только одного – поступай так же по отношению ко мне; у нас с тобою и без того достаточно много домашних хлопот: твоя вселенная и мой маленький мир – оба одинаково требуют забот.

Господи, ты меня сотворил свободным. Будь свободен и ты. А между тем нахалы эти уверяют, что я должен управлять делами твоими, говорить за тебя, указывать, каким именно образом ты желаешь, чтобы надоедали тебе, и объявлять врагом, и твоим и моим, всякого, кто дерзает надоедать тебе иначе! Мой враг? Как бы не так! Все люди – друзья мои. Дерутся они – пускай, это их дело. Когда можно, я из игры выпадаю; но они держат меня, негодяи! Будь врагом одного, а то недругом будешь обоим; тот бит, кто стоит на черте между ними. Ну что ж, надо биться и мне. Буду сперва наковальней, но я ль не умею ковать?

Кто мне скажет, зачем появились на свете вороны эти: воры, а не дворяне, правители, законодатели, нашей франции кровопускатели? О славе страны они твердо поют, а карманы ее-то вывертывают, все берут, им не жаль ее; но идут они далее, угрожают Германии, подползают к Италии, да в гаремы Востока суются; им бы хотелось владеть половиною всей земли, но, получив ее, не могли бы и капусту насадить!... Стой, успокойся, друг мой, нечего попусту кипятиться. Мир и так хорошо устроен – пока мы его не устроим еще лучше (это будет при первой возможности). Мне как-то рассказывали, что однажды Христос (Господи! я сегодня только и делаю, что говорю о тебе), гуляя с Петром по Вифлеему, увидел женщину, которая, пригорюнившись, сидела у себя на пороге. Она так тосковала, что Создатель, сжалившись над ней, вытащил, говорят, из кармана горсточку вшей и сказал: “На, позабавься, дочь моя!” Тогда женщина, очнувшись, принялась охотиться; и всякий раз, как удавалось ей раздавить насекомое, она смеялась от удовольствия.

Подобное же милосердие выказали небеса, подарив нам для развлеченья те существа двуногие, которые ныне грызут нас. Будем веселы, веси! Присутствие гадости этой, оказывается, признак здоровья (гадины – хозяева наши). Возрадуемся, братья: нет никого, кто был бы здоровее нас; а кроме того, я вам скажу (на ухо): “Терпенье! Мы не в проигрыше. Холод, изморозки, разбойники огородные и благородные – все это до поры до времени. Они уйдут, но земля-то останется, и останемся мы, чтобы ее удобрять... А пока допьем последний свой бочонок. Нужно место очистить для будущих сборов”.

Дочь Марфа мне говорит: “Ты просто бахвал. Тебя слушая, можно подумать, что ты только умеешь болтать, бить баклуши, бухать, как колокол, да забулдыжничать; что в жизни ты только зевака и бражник, что залпом способен ты выпить и Красное море и Белое; на самом же деле не можешь и дня ты провести, не работая. Ты хочешь, чтоб люди считали тебя жужжащим жуком, простаком, расточительным и бестолковым; однако ты слег бы, наверное, если б твой день хоть слегда изменить – твой скупо расчисленный день, подобный курантам звенящим. Каждый грош у тебя на счету, и еще не родился тот, который тебя бы надул”.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Ах, дурачок! Ах, вертопрашный! Бейте беззащитную овечку! “Овца из Шаму: достаточно трех, чтобы волка задушить...” Я смеюсь, – молчу... У нее острый язычок, и она права, но не следовало бы ей говорить все это, женщина на ключ запирает только то, чего она не знает. Марфа меня видит насквозь, недаром я создал ее. Ну, была не была, сознайся, друг мой, николка: как ни безумствуешь ты, а все же не будешь ты никогда совершенно безумным. Как у всякого, есть у тебя ветреный бес в рукаве. Порою ты кажешь его, но прячешь, когда работа требует свободы рук и ясности в мыслях. В тебе, как и во всех французах, непоколебимы некая рассудительность и врожденное чувство порядка, а потому ты можешь иногда, забавы ради, притворяться головорезом. Это представляет опасность только для тех жалких глупцов, которые глядят на тебя, рот разинув, и желали бы тебе подражать.

Краснословие, гулкие стихи, горынские замыслы – все это не лишено сладости. Воспламеняешься, разгораешься; но мы потребляем только хворост, крупные же поленья остаются лежать ровными рядами в нашем дровяном сарае. Мое воображение вертится на подмостках перед глазами разума, сидящего в удобном кресле. Все делается в угоду мне. Целый мир – театр мой, и, как неподвижный зритель, я слежу за развлекательным представленьем, рукоплещу Матамору и Франкатриппе, любуюсь рыцарскими поединками и колесницами королей, кричу бис, когда люди разбивают друг другу головы. Нам весело! Порою, чтобы удвоить удовольствие, я делаю вид, что искренно принимаю участие во всем этом. На самом деле же я лишь верю столько, сколько нужно, чтобы не скучать. Или вот когда слушаешь волшебные сказки. Да и не только волшебные... Есть один сановитый господин, наверху, там, в эмпиреях... Очень уважаем мы его. Когда по нашим улицам он шествует, с крестом горящим во главе, да с песнопеньями, мы простынями белыми занавешиваем стены наших маленьких домов. Но между нами говоря... Болтун, типун тебе на язык! Это пахнет костром... Господине, я ничего не сказал. Шапку снимаю.

* * *

Конец февраля

Осел, ошипав луг, сказал, что больше нет надобности его оберегать, и отправился есть (оберегать то есть) траву на лугу соседнем. Люди господина Невера ушли сегодня утром. Приятно было глядеть на них, так соблазнительно разжирили они. Я гордился кухней нашей. Мы расстались приветливо – руку к сердцу прикладывая, губы в сердечко складывая. Они выразили тысячу пожеланий изящно-вежливых, пожелали нам, чтобы колосья тучны были, чтоб мороз не тронул виноградников.

Трудись, сказал мне на прощанье Якорь Балакирь, мой гость-сержант, трудись, дяденька (так он меня именует, и я оправдал это прозвище вполне: тот мне дяденька, кто меня кормит сладенько). Не жалея своих сил, ступай подрезывать лозы. Через год ты снова нас будешь потчевать...

Милые люди, всегда готовые прийти на помощь честному человеку, когда он сидит за кружкой вина! Как-то легче чувствуешь себя, с тех пор как они ушли.

Соседи осторожно вынимают спрятанные яства. Те, которые еще так недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, точно у них за пазухой возился волк, – теперь из-под земли погребов, из-под соломы чердаков вытаскивают все, что нужно, чтобы накормить досыта хищника этого. И хоть скулили они, очень убедительно жалуясь, что у них ничего не осталось, однако не было ни одного такого негодяя, который бы не нашел способа спрятать лучшее свое вино. Я сам (не знаю, как это случилось), проводив гостя Якоря Балакиря, внезапно вспомнил, шлепнув себя по лбу, о небольшом бочонке шабли, который я по рассеянности оставил в конюшне, прикрыв навозом, чтоб ему тепло было. Меня это очень опечалило, разумеется, но когда зло сделано – оно сделано, и сделано ладно; нужно примириться. Примириться не трудно. Ах, Балакирь, племянник мой, что вы потеряли. Какой нектар, какой букет!... Впрочем, – нет, друг мой, нет! вы не потеряли ничего, вы ничего не потеряли, мой друг. Ведь я пью за ваше здоровье!

Бродишь, ходишь по домам. Сосед соседу показывает, что нашел он в своем погребе. Как некие авгуры, перемигиваемся, поздравляем друг друга, повествуем о поврежденьях (о женах, об их поврежденьях). Рассказы соседа тебя веселят, свои забываешь несчастья. Наведываешься о здоровье супруги Викентия Брызги. После всякого пребывания полка в нашем городе эта доблестная женщина расширяется в объеме. Поздравляешь отца, восхищаешься плодородием чресел его. И в шутку, без

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
задней мысли, я добродушно похлопываю по животу счастливец, у которого, говорю я, дом полная чаша, в то время как голы жилища наши. Все, конечно, смеются, но смеются скромно.

Брызга, однако, обижается и объявляет, что было бы лучше, если б я наблюдал за своей женой. “Что касается этого сокровища, – ответил я, – благословенный его обладатель может ослепнуть, оглохнуть и все-таки быть совершенно спокойным, мой друг”. И все согласились вокруг.

* * *

Но вот наступают скоромные дни. Оскудели мы, а нужно их отпраздновать; этого требует честь нашего города. Что подумают о Клямси, славном своей колбасой, если к началу масленицы у нас даже горчицы не будет? Слышно, как печи шипят; на улицах воздух пропитан запахом сала приятным.

Блин, блин, пляши! выше, выше! пляши для Глаши моей!... Бормочут барабаны, лепечут флейты. Хохот и свисты. Это приехали соседи-сплавщики. Приехали проведать Рим [Рим – район Клямси, верхний город, это имя он получил от так называемой “Староримской” лестницы, ведущей от площади св. Марка к Бевронскому предместью. (Примеч. автора.)]. Во главе идет музыка и ватага копьеносцев, толпу пробивающих носом. Носы в виде хоботов, носы в виде шпаг, носы как рога, носы как рогатки, носы подобно каштанам, в частых шипах, носы с птицами на концах. Они расталкивают зевак, обшаривают юбки взвизгивающих девиц. Но всё разбегается перед королем носов, который наскაკивает, как таран, и катит перед собой на лафете свой смертоносный нос.

Следует колесница царя сушеной рыбы. Лица бледные, зеленоватые, худые, монашеские, неприятные, зябко-дрожащие под чешуйчатыми белоглазыми капюшонами. Сколько рыб! Один несет в каждой руке по карпу или окуню, другой машет трезубцем с насаженными на него пескарями, у третьего вместо головы – щука с плотвою во рту, и, распарывая себе брюхо пилой, он рождает рыб без числа. Меня гадует даже. Иные, распахнув пасть и вглубь засунув пальцы, чтоб расширить ее еще больше, давят, запихивая себе в глотку слишком крупные яйца. Слева, справа монахи в совиных масках с высоты колесниц удят уличных мальчишек, которые, разинув рот, скачут, как козлята, стараясь поймать и раскусить на лету орешки или навозные шарики, облепленные сахаром.

А сзади шагает дьявол, одетый поваром, постукивая ложкой суповой об кастрюлю. Омерзительной смесью он весело кормит шестерых связанных босых грешников, которые бредут гуськом, просунув меж ребер лестницы уродливые головы в колпаках бумажных.

Но подожди, увидишь самых важных, вот они, торжествующие вожди. На престоле из окороков, под навесом из копченых языков едет королева колбасная, в лоснящемся коричневом венке, в ожерелье из сосисок дымчатых, которое она перебирает с ужимочкой своими пальцами начиненными. Ее сопровождает блестящая жирная стража – колбаса белая, колбаса черная, – вооруженные вертелами. Люблю также этих сановников, у которых вместо туловища пузатый котел или мясной пирог. Они несут, подобно волхвам, – кто голову кабана, кто чашу синеватого вина, кто горшок горчицы дижонской. При звуках труб, литавр, уполовников, сковород, средь общего хохота, – вот, является, верхом на осле, король рогачей, наш друг Брызга... Так-таки избрали его. Сидя лицом к хвосту, в высокой чалме, с рюмкой в кулаке, он слушает, как его телохранители, рогатые дьяволы, сочно рассказывают на хорошем французском языке, не скрывая ничего, о воцаренье и славе его. Как мудрец истинный, он не выказывает гордости излишней. Беззаботно он пьет, заливаясь. Но когда ему случается проезжать мимо жилища, той же судьбой отмеченного, он, подняв стакан, восклицает: “Эй, за здоровье твое, собрат!” Наконец, замыкая шествие, проходит Красота Вешняя. Свежая девушка, розовая, веселая, с чистым лбом, с цветиками ясными желтого гасника на мелких локонах. Сережки, сорванные с юного дерева, зеленеют у нее на перевязи, вокруг маленьких круглых грудей, а на бедре колышется кошель-колокольчик. И, корзинку в руке раскачивая, высоко подняв брови бледные, широко раскрыв глаза – цвета лазури утренней, округляя старательно рот, острые зубки показывая, она голосом тонким поет о ласточке незабывчивой. Подле нее, на повозке, которую тянет четверка больших белых волов, сидят другие весенницы – красивые, крупные девицы и девочки в нельстивом возрасте, словно слепые деревца, ростки пустившие, туда, сюда, в

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
каждой не хватает кусочка; но, впрочем, волк остался бы доволен... Дурнышки хорошие! Они держат в руках клетки с перелетными птицами или же, нашаривая в корзине королевы-весны, бросают в толпу гостинцы, сверточки легкие с чепцами и платьяцами, орешки, судьбу записанную, любовные стишки, а то – рога.

За рынком, перед башнею девы спрыгивают с повозки и на площади танцуют с писарями и приказчиками. Между тем масленица и король рогачей продолжают свой блистательный путь, останавливаясь через каждые двадцать минут, чтоб сказать человеку истину или же искать ее на дне стакана.

Дай вина, дай вина, дай вина,
ужель разойдемся, не выпив вина?
Нет!
Мы бургундцы, а бургундцы
не такие уж безумцы!
* * *

Но от слишком частого поливанья язык тяжелеет и красноречие плесневеет. Я покидаю доброго Викентия, который со своими спутниками вновь привалил к тени кабака. Нельзя сидеть взаперти, когда день так приятен. Пойдем подышать воздухом полей!

Мой старый друг, поп Шумила, приехавший из деревни своей, чтобы попить у архиерея, приглашает меня прокатиться. Беру с собой Глашу. Мы оба влезаем в его тележку, запряженную осликом. Пошел, пошел, серенький! Он так мал, что я предлагаю его посадить в повозку между Глашей и мной. Дорога белая растягивается. Солнце дремлет по-старчески; оно больше греется само, нежели нас согревает. Ослик засыпает тоже и останавливается задумчиво. Возмущенный поп его окликает басом.

Ослик вздрагивает, прядет ушами, маячит меж двух колеек и снова замирает, снова задумывается, равнодушный к нашим понуканьям.

– Ах, проклятый, если б не знак креста, которым ты отмечен, – гудит Шумила, тыча палкой ему в зад, – я сломал бы дубину об твою спину.

Чтобы передохнуть, мы останавливаемся у первой же харчевни, при повороте дороги, спускающейся оттуда к деревне Армса, которая, белея внизу над светлой рекой, любит отраженьем своей тонкой мордочки. Посередине соседнего поля вокруг высокого орешника, вздымающего к белесому небу свои черные руки, свою гордую наготу, – пляшет хоровод девушек. Они только что принесли праздничную дань – жирные блины – кумушке-сороке.

– Агу, сорока, агу, белобока! Глаша, глянь-ка, вот она, высоко, высоко, на краю гнезда. Любопытствует! Чтоб круглый глазок да болтливый язычок чего бы не пропустили, она построила домик свой среди самых высоких ветвей, на ветру...

Промокла сорока, озябла – да что ей? Зато все видно. Она не в духе, она как будто хочет сказать: “Не нужно мне ваших даров. Унесите их, дурни!... Если бы я пожелала отведать блинов, – неужели вы думаете, я не могла бы взять их у вас? Разве приятно есть то, что дают тебе? Нет, вкусно лишь краденое”.

– Дед, почему же тогда ей дарят блины и эти красивые ленты? Почему с пожеланьями добрыми приходят к этой воровке?

– Потому, видишь ли, что нужно быть в жизни со злыми в ладу.

– Однако, николка Персик, хорошему ты ее учишь, – сердито гудит Шумила.

– Я не говорю, что это – хорошо, – я говорю только, что так все делают, ты – первый, мой друг. Да, да, вращай глазами! Посмей сказать, что, когда тебе надоедают те из твоих прихожан, которые все видят, все знают, всюду нос суют, у которых, рот что мешок, полный сплетен лукавых, – ты бы не набил их блинами, чтобы замолкли они!

– Господи! Если б этого было достаточно! – восклицает поп.

– Впрочем, я оклеветал горланью. Она все-таки лучше иной женщины. Язык ее пользует

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru приносит.

– Какую, дедушка?

– Когда близок волк, она стрекочет.

И что же: при этих словах сорока начинает кричать. Она ругается, захлебывается, бьет крыльями, кружится, обрушиваясь трескучей бранью на кого-то, на что-то, что скрыто в долине Армса. На опушке леса ее пернатые кумушки – сойка бойкая и Ворона Ларионовна – вторят ей обиженно и раздраженно. Люди хохочут, люди кричат: “Волки!” Никто этому не верит. Но все же идут посмотреть (верить хорошо, видеть еще лучше)... И что же видят? Экая чертовщина! Из долины по склону поднимается вереница вооруженных людей. Мы их узнаем. Это вражий отряд из Везлэ. Мерзавцы! Им стало известно, что наш город остался без стражи, и они вообразили, что возьмут его голыми руками!

Не долго предаемся созерцанью. Каждый кричит: “Спасайся кто может!” Толкаются, рассыпаются; стремятся сломя голову по дороге, по полям, по скатам. Этот – на животе, как свинья, тот – на другом полушарии тела. Мы трое вскакиваем в свою тележку. Как будто раскусив, в чем дело, ослик срывается, как стрела с лука; Шумила бьет его с постоянством барабанщика, совершенно забыв от волнения, что нужно относиться с почтеньем к спине, отмеченной знаком креста. Мы катимся, обгоняя поток людей, взвизгивающих на бегу, и, наконец, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Клянси. Повозка прыгает, ослик несется, земли не касаясь, поп хлещет вовсю, и мы кричим, пролетая через предместье Беяна:

– Враг идет!

Сперва люди смеялись, глядя на нас. Но скоро они поняли. Тогда все завозилось, словно муравейник, в который сунули бы палку. Метались, хлопали дверьми, входили, выходили, снова входили. Мужчины вооружались, женщины собирали пожитки, всякой всячиной набивали мешки, нагружали тележки; все жители местечка, покинув свои норы, отхлынули к городу, под защиту стен; сплавщики, не снимая нарядов своих и масок, рогатые, когтистые, пузатые, кто в образе Гаргантюа, кто в образе Дьявола, вооруженные острогами, баграми, побежали на бастионы.

Так что, когда передовой отряд неприятеля встал под стенами, мосты уже были подняты и по ту сторону ямы оставалось лишь несколько бедняков (которые, не имея ничего за душой, не очень торопились спасти свое имущество) – и король рогачей, друг наш Брызга, забытый своим конвоем. Король, полный по самое горлышко и круглый, как Ной, храпел верхом на осле, ухватившись за хвост.

Здесь отмечу, как выгодно иметь врагами французов. Иные олухи, немцы, или швейцарцы, или англичане, которые лучше руками шевелят, чем мозгами, и соображают только на Рождестве то, что им говорят на Пасхе, несомненно подумали бы, что глумятся; и я бы гроша медного не дал за участь бедного Брызги. Но соотечественники понимают друг друга с полуслова: откуда бы ни был ты родом – из Лотарингии, из Турэни, из Шампани или из Бретани, – кто бы ни был ты – гусь ли из Боса, осел из Боны или заяц из Везлэ, – с кем бы из соседей своих ты ни дрался, – славную шутку всегда ты оценишь, как истинный француз. Увидев нашего Силена, весь неприятельский лагерь расхохотался. Смеялись они ртом и носом, животом и подбородком, душой и телом, – и мы, черт возьми, глядя на них с бастионов, лопались со смеху. Потом мы через яму обменялись веселыми ругательствами по примеру Аякса и Гектора. Только наши были смазаны более сочным салом. Хотелось бы мне их привести, но времени нет; я их включу, однако (терпенье!), в сборник, над которым я тружусь вот уже двенадцать лет, сборник всех жирных шуток, галушных, похабных, мною сказанных, читанных, слышанных (право, было бы жаль их утратить) во время паломничества моего в сей долине слез. При одном воспоминаньи я уже чувствую судороги смеха. Ну вот, – я поставил кляксу крупную.

* * *

Когда мы накричались вдоволь, пришлось за дело приняться (действие после разговора – отдохновение). Ни им, ни нам того не хотелось. Они обманулись в расчете – мы были защищены. Желанье вскарабкаться по стене их мало занимало: им бы кости переломало. Однако во что бы то ни стало, нужно было предпринять

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru что-нибудь. Пожгли пороху, повыпустили бескорыстно петард несколько, но пострадали одни воробьи. Мы же спокойно сидели, прислонившись к стене, у подножия парапета, и ждали, когда пролетят плевки, чтобы самим плюнуть (не целясь, не слишком высовываясь). Мы решались выглянуть только тогда, когда раздавались вопли пленников; поставили их рядом лицом к стене (а было их с дюжину, все мужчины и женщины из Беяна) и хлестали их по оголенным ягодицам. Они ревели белугой, но зло было невелико. В виде мщенья мы потекли вдоль круговой ограды, прикрывающей нас, выявив всякие яства, окорока да колбасы, насажденные на наши колеблющиеся копыя.

Иступленные крики проголодавшихся осаждаателей развеселили нас, как доброе вино, и, дорожа каждой каплей его (когда найдешь хорошую шутку, чисто кость обглодай!), мы расположились под светлым небом, на траве, в тени стен, вокруг столов, кряхтевших под тяжестью блюд и бутылок. Мы пировали, грохотали неистово, пели, пили за здоровье Масленицы. Те едва не передохли от злобы. Так прошел день – скромно, без особых неприятностей. Был, впрочем, один несчастный случай: толстый Пузо-Пузак, охмелев, пожелал пройтись по самой стене со стаканом в руке, чтоб еще больше раздражить неприятеля, и мушкетный залп расквасил ему и голову, и стакан. Мы взамен тоже гвозданули двух-трех. Но это не испортило нам настроенья. Известно, что ни единого не обходится праздника без нескольких битых горшков.

Шумила решил ночью под защитой мрака выйти из города и вернуться восвояси. Мы напрасно твердили ему:

– Друг, – это слишком опасно. Подожди, скоро конец. Бог возьмется хранить твою паству.

Он отвечал:

– Место мое средь моих овец. Я десница Господня. Если я не приду, калекой останется Бог. А там я бы делу помог, клянусь.

– Верю, верю тебе, – говорю я. – Ты доказал это, помнишь, когда колокольню твою гугенотов отряд осаждал, и ты забулавил булыжником их капитана?

– И удивлен же был этот язычник! – замечает Шумила. – Я, впрочем, тоже. Незлобивый я человек, видеть быющую кровь не люблю я. Гадость какая! Но черт его знает – что происходит в тебе, когда средь безумцев стоишь! Превращаешься в волка!

Я в ответ:

– Это правда. Здравый смысл всего легче в толпе потерять. Сто мудрецов составляют безумца, сто овечек – волка. Но, кстати, скажи-ка мне, поп, как согласишь ты оба закона – закон человека, который живет с глазу на глаз с своей совестью и желает покоя себе и другим, – и закон стада людского, государств, преступление считающих подвигом, – какой из них Божий?

– Что за вопрос!... Оба, мой друг. Все от Бога.

– Если так – он не знает, что ему нужно. Но я думаю сам, что, пожалуй, он знает, а все же порою бессилён; с одним человеком он справится: он без труда принуждает его к послушанию, но, когда собирается целое стадо людей, Богу плохо приходится. (Что может один против всех?) Тогда человек чует шепот земли – матери хищной – и дух ее воспринимает. Помнишь сказку о том, что люди по некоторым дням обращаются в волков, а потом снова принимают облик свой обычный? Наши старинные сказки мудрее твоего молитвенника, поп. Люди, собравшиеся в государство, делаются волками. И государства, и короли, их управители, напрасно надевают пастушью одежду, напрасно обманщики эти называют себя меньшими братьями великого пастуха, твоего же Доброго Пастыря, – все равно они только волки да акулы, пасть да брюхо которых ничто насытить не может. И почему? Потому что голод земли безграничен.

– Ты бредишь, язычник, – говорит Шумила. – Бог создал волков, как и создал он все для нашего блага. Разве тебе не известно, что сотворил Иисус первого волка для того, чтобы он охранял от козлят капусту в огородке Богородицы? Он прав был. Склонимся. Мы стоим, на сильного жалуясь вечно. Но если бы, друг мой, властелинами слабые стали, было бы хуже еще. Заключение: все хорошо – и овцы и

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
волки. Овцам волк нужен, чтоб он их берег. Также и овцы волку нужны, ибо надо же питаться. Я же, друг мой Николка, капусту свою пойду стеречь.

Подоткнул он рясу, сжал в руке дубинку и ушел в безлунную ночь, не без волнения поручив мне ослика своего.

Последующие дни были не так веселы. Мы в первый вечер жрали не считая, из жадности, из хвастовства и просто по глупости. Наши припасы были более чем подгрызаны. Пришлось поджечь животы; поджгли. Но мы все еще храбрились. Когда вся колбаса исчезла – мы выпустили собственные изделия – кишки, набитые опилками, канаты, вымазанные в сажу, – которые мы проносили на острогах, под самым носом неприятеля. Но подлец выпотрошил хитрость нашу. Пуля пополам перерезала одну из колбас. И кто тогда громче хохотал? Не мы. Наконец разбойники эти, видя, что мы удим с высоты стен, окаймляющих реку, вздумали растянуть на плотинах вверху и внизу по течению широкие сети, перехватывающие нашу рыбу. Тщетно архиерей наш умолял этих нехристей позволить и нам справлять масленицу. За неимением постного, пришлось питаться своим жиром. Мы, конечно, могли бы попросить помощи у господина Невера. Но, по правде сказать, нам не очень хотелось снова приютить войско его. Иметь врагов снаружи обходилось дешевле, чем иметь друзей внутри. Поэтому мы молчали, пока не было надобности их призывать. И неприятель со своей стороны тоже скромно помалкивал. Мы оба предпочитали обсудить дело вдвоем, без вмешательства третьего. Таким образом, начались неторопливые переговоры. Меж тем в обоих лагерях текла жизнь очень мирная: мы ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары, зевали больше от скуки, чем от голода, и спали так много и так крепко, что хоть и говели, а разжирели. Двигались как можно меньше; но было трудно детей удерживать. Они все бегали, пищали, смеялись, вертелись, язык показывали врагу, сыпали в него камнями. У них был целый оружейный склад, состоящий из бузиновых спринцовок, пращей веревчатых, палок расщепленных... Обезьянки неистово хохотали (на тебе, на тебе, бац в самую гущу!), и те, разъяренные, клялись их истребить. Нам крикнули, что первый же шалун, который высунет нос, будет застрелен. Мы обещали наблюдать за ними; но тщетно мы их за уши драли, тщетно на них орали – они у нас меж пальцев проскальзывали. И вот доигрались. (Как вспомню, дрожу.) Как-то вечером слышу я крик: то Глаша (нет! кто бы сказал, спящая эта вода, смиренница эта – ах, проказница, ах, золотая моя) – Глаша упала с ограды да в яму нырнула! Боже!... как я ее выдрал бы! На стену вспрыгнул я живо. И все мы, нагнувшись, смотрели... Отличной мишенью мы бы врагу послужили; но враг, как и мы, глядел на дно ямы, куда моя девонька (слава тебе, Богородица!) мягким легким клубочком скатилась. Сидела она среди травы расцвеченной, лицо поднимала и лицам, склоненным с обеих сторон, улыбалась по-детски и срывала цветы. Все мы тоже смеялись в ответ. Господин Рагни, неприятельский вождь, приказал, чтоб ребенка не трогали, а сам даже бросил ей – добрый он был человек – коробочку, полную розовых сахарных лепешек. Но пока мы занимались Глашей, Марфа (с женщинами всегда возня) кинулась спасать овечку свою и вот по тому же скату спускалась стремительно, сбегая, скользя, кувыряясь, юбку закинув за шиворот и гордо показывая осаждаателям свой восток, свой запад, все четыре точки мирозданья и светило, на небе сияющее. Ее успех был блистателен. Она не сбобела, схватила дочку и поцеловала ее и отшлепала. Восхищенный ее прелестями, не слушая капитана своего, один громадный солдат в яму прыгнул и бегом направился к ней. Она ждала. Мы сверху бросили ей метлу. Она ее схватила и смело пошла на врага – ах и трах, бах-бабах (плохо приходилось волоките!) и в зад и в бок, а он наутек. Гремите трубы, ликуйте!

Победительницу вместе с ребенком втащили вверх при общем хохоте; и я тянул, гордый, как павлин, за веревку, на которой мое детище поднималось, являя врагу светило ночное.

Еще целая неделя прошла в обсуждениях (всякий предлог хорош, коли болтать любишь). Ложный слух о приближении господина Невера наконец привел нас к соглашенью; условия мира не были особенно тягостны: мы обещали торговцам города Везлэ десятую долю виноградных сборов. Легко обещать то, чего не имеешь, что будешь иметь, да и будешь ли? Бог весть! Во всяком случае, немало воды протечет под мостами, немало вина мы выпьем сами.

Итак, мы были вполне довольны друг другом и еще более довольны собой. Но только ливень миновал, дождь иной захлестал. Случилось это как раз в ночь после договора: в небесах появилось знаменье часу в десятом, вышло оно из дальнего леса, за которым таилось, и, скользя по звездному полю, растянулось, как змея. Оно походило на шпагу с горячим острием, окруженную кольцами дыма. Рукоятку

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru сжимают пять пальцев; вместо ногтей вопиющие головы, на четвертом – буйноволосая женщина. И ширина той шпаги у рукоятки – целая пядь; у острия – три четверти дюйма, посредине – два дюйма с третью. И цвета она лиловато-красного, словно широкая рана. Все дураками глядели на небо; слышно было, как зубы щелкали. И оба лагеря мысленно решали вопрос: к какому относится предсказанье. И наш был уверен, что погибнет ихний. Но у всех поджилки тряслись. У всех, кроме меня. Я страха не ощущал. Впрочем, нужно добавить, что я ничего и не видал; лег я в девять часов, по предписанью альманаха; где бы я ни был, когда альманах приказывает, я безмолвно покоряюсь; ибо это слово евангельское. Но так как мне все потом рассказали, вышло то же, как если бы я сам видел. Я и записал.

Мир заключили, и все вместе – друга и недруги – собрались на пир. Пост миновал, масленица была в полном разливе, и отпраздновали же мы ее! Окрестные села послали нам всякой снеди, а с нею и едоков. Прекрасный был день. По всей длине крепостного вала тянулись накрытые столы. Подано было три поросенка, бережно сжаренных, цельных и плотно набитых пряною смесью остатков кабаньих с печенкою цапли; окорока благовонные, в очаге закопченные вместе с ветками можжевельника; пироги со свиной нарубленной – или зайчатинной – в складках румяного теста, чесноком и лавровым листом ароматно пропитанных; колбаса и кишки; улитки и жуки; жареные кушанья, опьяняющие запахом еще издали; головизны телячьи, вкрадчиво нежные; и горы горящие раков, приправленных перцем, опаляющим глотку; и тут же освежающие салаты, – и вина тонкие, разнообразные – шапот, мандр, вофиллу, а под конец – холодные, белые хлопья простокваши, тающие меж небом и языком, да печенья, впитывающие выпитое вино, словно губки.

Никто из нас не отступил ни на шаг, пока было что жрать. Да возблагодарим Господа за то, что он дал нам возможность в такой краткий срок напихать в мешок нашего живота бутылки и блюда! Особенно великолепен был поединок между отшельником Карноухим, которого поддерживали жители Везлэ (этот великий мудрец первый, говорят, заметил, что осел не может кричать, не подняв хвоста), и нашим (не хочу сказать – ослом) отцом Скоморохом, который утверждал, что он некогда был карпом или щукой, – такое теперь отвращенье вызывала в нем вода, – оттого, верно, что он слишком много выпил ее в иной жизни.

Когда мы встали из-за стола, все мы, люди из Везлэ, люди из Клямси, ценили друг друга гораздо больше, чем во время первого блюда; человека узнаешь за едой. Кто любит вкусное, любим мною, ибо он хороший бургундец.

Наконец, чтобы окончательно нас подружить, явились, пока мы переваривали ужин, подкрепленья, посланные господином Неверским для защиты нашей. Славно посмеялись мы; и оба наши лагеря очень вежливо попросили их уйти откуда пришли. Они не посмели настаивать и отправились назад, смущенно-жалкие, словно собаки, которых бы овцы повели пастишь. И мы говорили, обнимая друг друга: “Как глупо было драться ради наших опекунов; если б у нас не было врагов, они бы, черт возьми, выдумали бы каких-нибудь, чтобы иметь возможность нас защищать. Благодарим! Да спасет нас Бог от спасителей наших. Мы и сами спасемся. Бедные овечки! Если б нам нужно было оберегаться только от волка, мы бы знали, как поступать. Но кто нас защитит от пастуха?”

В ГОСТЯХ У ПОПА
Начало апреля

Как только дороги очистились от этих непрошенных гостей, я решил проведать Шумилу в деревне его – Брэв. Не то чтоб тревожился я, – у молодца кулак не на привязи! Но все же спокойнее на душе, когда своими глазами увидишь друга... К тому же нужно было размять себе ноги.

Итак, ни слова не говоря, я отправился. Посвистывая, шел я берегом реки; тянулась она у подножия лесистых холмов. На новеньких листиках дробились капельки дождика маленького – святые слезы весенние. Он замирал на два-три мгновенья и вновь продолжал шелестеть себе тихохонько. В зарослях мяукала влюбленная белка. На лугах гуси гагакали. Вовсю расходились дрозды; и синичка твердила свое: “тити-путь...”

По дороге, в Дориси, я зашел за другим своим другом, нотариусом Ерником: подобно грациям, мы в полном сборе, только когда мы втроем. Я нашел его за рабочим столом. Он торопливо записывал настроенье погоды, свои сновиденья и политические

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru мненья. Рядом была раскрыта книга: “Пророчества Нострадамуса”. Когда всю жизнь сидишь взаперти, мысль освобождается и посещает еще чаще равнины мечты и чащи воспоминанья; и хоть не можешь управлять миром, зато читаешь в будущем его судьбу. Все предсказано, говорят; верю, но признаюсь, судьбу я в книге находил только после того, как свершилась она.

Увидя меня, добрый Ерник просиял; и весь дом сверху донизу задрожал от наших раскатов. Вид этого пузатого человечка радует меня. У него лицо рябое, широкие щеки, красочный нос, глаза узкие, живые, хитрые. Он часто бурчит, людей и погоду бранит, но на самом деле он благодушно-насмешлив и еще пуще меня балагурит. Он умеет и любит, – с видом суровым отпустить не то что красное, а прямо-таки багровое словцо. И приятно глядеть на него, когда, важный, сидит перед бутылкой он, именует бога чревоугодия и бога веселья, распивает и распевает. Довольный моим приходом, он стиснул мне руки в толстых своих лапах – жестких и неуклюжих, но лукавых, как и он сам, лукавых и ловких, когда нужно работать, стругать, вырезывать, переплетать. Все в доме сделано им самим; и не все красиво, но все от него исходит; и – красиво ль оно или нет – это его портрет.

По привычке стал он жаловаться на то на се; а я, из духа противоречия, хвалил и то и это. Он лекарь – “тем хуже”, я же лекарь – “тем лучше”: вот и вся игра наша. Далее побранил он своих клиентов; и действительно, они не особенно торопились платить: долги некоторых из них вот уж тридцать пять лет как еще не погашены; да и сам он не очень настаивает. Другие если и платили, так только случайно, и чаще всего натурой: корзиной яиц, курой; таков обычай! Проси он деньгами – обиделись бы. Он ворчал, но не противоречил; и мне кажется, что, будь он на их месте, он поступал бы точно так же. По счастью, у него был известный недостаток – питательный капиталец. Жил он незатейливо, старым холостяком, за бабочками не бегал – а что касается вкусовых наслаждений, то на этот счет сама природа позаботилась – стол накрыт среди наших полей; виноградники наши, плодовые сады, садки являются обильной кладовой. Тратил он только на книги, но скупясь, их показывал только издали, не любил одалживать. Кроме того, у него была плутовская склонность глядеть на луну сквозь те стекла, которые недавно из Голландии к нам прибыли. Он устроил себе на крыше между трубами колеблющуюся площадку, откуда он строго наблюдает вертящийся небосвод; он пытается разобрать, не много, впрочем, понимая, букварь судеб наших. Не верит он в это, но любит обманывать себя. Я его понимаю: приятно из окна своего смотреть на огни небесные, что проходят, как по улице барышни; воображать их любовные приключенья, кружевные романы, и хоть, может быть, ошибаешься – все равно это развлекательно. Мы долго обсуждали чудо – кровавую шпагу, которой взмахнул некто в ночь на четверг. И каждый из нас объяснял знаменье по-своему; каждый, разумеется, утверждал непоколебимо, что его заключение – правильное. Но под конец оказалось, что ни тот, ни другой ничего не видел. В этот вечер звездочет наш как раз задремал на крыше своей. Не так уж скучно, когда в дураках остаешься не один. Мы и повеселели.

И потекли мы в путь, твердо решив ни в чем попу не признаваться. Шли мы полем, разглядывая юные ростки, веретенца розовые кустарников, птиц, начинающих гнезда вить, и ястреба, который колесил над равниной, вспоминали, смеясь, как некогда мы над Шумилой подшутили. В продолжение нескольких месяцев Ерник и я, мы из сил выбивались, чтобы научить крупного дрозда, посаженного в клетку, песне гугенотовской. Когда нам то удалось, мы выпустили его в поповский сад. Он там основался и сделался гласником для всех других деревенских дроздов. И Шумила, которого их хорал невольно отвлекал от молитвенника, крестился, божился и, уверенный, что сам бес к нему в сад залез, его заклинал и, наконец, не помня себя от гнева, притаившись за своей занавеской, стрелял из пищали в Лукавого. Впрочем, поп не совсем оказался простаком: убив дьявола, он съедал его.

Так, беседуя, мы дошли.

Брэв, казалось, спит. Дома дремали на солнце, широко разинув двери. Не было кругом ни одного человеческого лица, кроме разве голой задницы мальчишки, который, стоя на краю канавы, поливал крапиву. Но по мере того, как мы с Ерником приближались к середине села, по дороге, испещренной соломинками и кучками помета, словно росло густое жужжанье раздраженных пчел. И, выйдя на церковную площадь, мы увидели толпу людей, руками взмахивающих, рассуждающих и взвизгивающих. А на пороге двери, ведущей в поповский сад, Шумила, пунцовый от гнева, вопил, показывая кулаки всем своим прихожанам. Мы старались понять, но голоса сливались в гул. “...Червяки, червячки... Мыши и жуки... Cum spiritu tuo...”

Перевод– Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
[Духом твоим (лат.)].] Шумила кричал:

– Нет! Нет! Не пойду я!

А толпа:

– Врешь! Наш ли ты поп? Ответь, да или нет? Если да (а это так), ты обязан служить нам.

И Шумила в ответ:

– Скоты! Я слуга Господа, а не ваш...

Необычайный был гомон. Шумила, потеряв терпенье, захлопнул железную дверь в лицо им; сквозь решетку просунулись его руки: одна по привычке окропила народ святой водой благословенья, другая же взметнулась, посылая на землю гром проклятия. В последний раз его круглое брюшко и квадратное лицо появилось в окне дома. Тщетно попытавшись перекричать улюлюкающую толпу, он вместо ответа со злобой показал им язык. На сем – ставни закрылись, дом оцепенел. Крикуны повыдохлись, площадь опустела; и, проскользнув между последних зевак, мы могли, наконец, постучаться к Шумиле.

Стучались мы долго. Осел не хотел нам открыть.

– Батюшка! А, батюшка!

Наш зов был напрасен. (Мы ради шутки изменили голоса.)

– К черту! Меня нет здесь.

И так как мы все-таки настаивали:

– Убирайтесь вон, вон! – загремело изнутри. – Если вы, черти, тотчас не перестанете теревить и ломать мою дверь, я вас так окрещу!...

Он чуть не выплеснул на голову нам свой горшок.

Мы закричали:

– Чего там! Плесни уж вином...

При словах этих буря чудом утихла. Красная, как солнце, добродушная рожа попа выглянула из окна.

– Э, да это вы! Персик, Ерник! А я-то собирался проучить вас! Безбожные шутники! Что же вы сразу не сказались?

Он сбежал по лестнице, ступени проглатывая.

– Входите, входите. Во имя Отца и Сына... Дайте я обниму вас. Добрые люди, как я рад видеть лица человеческие после всех этих павианов. Присутствовали вы при том, как бесновались они? И пусть беснуются – пальцем не двину. Поднимемся, – пить будем. Верно, жарко вам? Хотят заставить меня выйти со Святыми Дарами! Дождь-то ведь собирается. Господь и я – мы вымокли бы, как мыши. Разве мы на службе у них? Разве я батрак? Обращаться с человеком Божьим как со скотиной! Изверги! Я создан, чтобы лечить их души, а не поля их...

– Да в чем же дело, – спросили мы, – что морочишь ты нас? Кого ты бичуешь?

– Идемте наверх, – сказал он. – Там нам будет удобнее. Но сначала выпить надо. Мочи нет, задыхаюсь!... Как вы находите вино это? Оно, что и говорить, не из скверных. Ну вот: поверите ли вы, друзья мои, что эти обезьяны норовят заставить меня служить ежедневно молебствие! И все из-за жуков.

– Каких жуков? У тебя они в мозгу жужжат; ты бредишь, Шумила!

– Какой там бред!... – воскликнул он в возмущенье. – Нет, это уж слишком!... Я – жертва их прихотей буйных, и меня же зовут сумасшедшим!

– Тогда объясни, объясни толком!...

– Вы меня оба загоните в гроб, – молвил поп, утирая лоб со злобой. – Как могу я найти покой, когда ко мне и к Богу, к Богу и ко мне лезут день-деньской с дурацкими просьбами? И заметьте (ох, задохнусь, чего доброго), заметьте, что эти язычники о будущей жизни не думают вовсе, не моют души, как и ног не моют, а меж тем от меня требуют то ненастья, то вёдра. Я должен приказывать солнцу, луне: “Немного тепла, теперь – влаги, – не слишком, – теперь солнышка, мягкого, нежного, мутного, теперь ветерка – но не надо морозов, пожалуйста, – полей-ка еще, смочи виноградник мой, Господи; стой, будет тебе отливаться... Теперь хорошо бы и чуточку зноя...” Слушая этих разбойников, можно подумать, что Богу одно только и остается: покорно трусить вокруг колодца (и, таким образом, поднимать в нем уровень воды), уподобляясь ослу, которому садовник догадливый подвязал спереди пучок сена. И притом (это лучше всего) они тянут в разные стороны: один дождя просит, другой – солнца. Приходится взять за бока и святых. Там, в вышине, тридцать семь из них доставляют влагу. Идет во главе, с копьем в руке, святой Медард, великий водолей; на другой же стороне – только двое: святой Раймунд и святой Дион, проясняющие небосклон. Но на помощь еще святые спешат: Влас гонит ветер назад, Христовор отстраняет град, Валерий – бури глотает, Аврелий – гром рассекает, Клар – синеву прокладывает. На небесах – раздор. Господа эти важные дубасятся. И вот святые Сузанна, Елена и Схоластика вцепились друг другу в волосы. Не знает Господь, какого слушаться голоса. И если Бог не знает ничего, – что может слугитель его? Бедняга! Впрочем, не мое это дело. Я здесь только затем, чтобы молитвы передавать. Исполнение же их зависит от хозяина. Посему я бы ничего и не сказал (хоть, между нами говоря, мне противно такое идолопоклонство: Иисусе кроткий, ужель ты напрасно страдал?), но оказывается, что негодяи эти требуют моего слова в ссорах небесных. Для них святой крест и я сам – только талисман, охраняющий их поля от всяких вредителей. Крыса ли грызет зерно в амбарах, – сейчас крестное шествие, заклинанья и молитвы к святому Никео. День был морозный, декабрьский. На плечах снегу целый мешок. Я потом разогнуться не мог. После – гусеницы: молитвы к святой Гертруде, крестные шествия. А на дворе март. Слякоть, снег талый, дождь ледяной; простужаюсь, конечно, кашляю до сих пор. А теперь – жуки. Пожалуйста, – шествие! Свинцовое солнце, тучи пузатые и черно-синие, словно мясные мухи, вдали глухое рокотанье грома, вспотею хорошенько, потом вымокну, – а хотят ведь, чтоб я обошел все их плодовые сады, распевая стих: “Ibi ceciderunt [Там погибли (лат.).] разносители беззакония, atque expulsi sunt [и изгнаны будут (лат.).] и не могли stare [Остаться (лат.).]”.

Но ведь изгнан-то буду, вероятно, -я! “Ibi cecidit [Здесь погиб (лат.).] Шумила, священник”. Нет, нет, нет, благодарю! Я не спешу. Лучшая шутка под конец надоедает. Мне ли, скажите на милость, давить червяков? Если бездельникам этим мешают жуки, пускай сами отжучиваются! Трудись, подмоги не требуй, – поможет тебе небо. Однако удобно было бы сидеть сложа руки и говорить попу: сделай это, сделай то. Нет, я буду поступать как хочет Бог и как я сам хочу: я пью. Пью. Делайте то же. Они же пусть осаждают мой дом. Осада осадой, а я так сяду, засяду и зада со стула не сдвину. Будем пить, друзья.

* * *

Он пил, ослабев после этой бури красноречия, и мы двое, подняв стаканы, глядели сквозь них на небо и на свою судьбу: и то и другое казалось розовым. Настала тишина. Только слышно было, как Ерник щелкал языком, да как хлюпало вино в глотке у Шумилы. Он пил залпом, а Ерник потихоньку. Когда струя опрокидывалась вглубь, Шумила всякий раз крякал, подняв к небу глаза. Ерник долго разглядывал свой стакан, сверху, снизу, в тени, на солнце, обнюхивал его, облизывал и взглядом и языком. Я же смаковал вместе и питье и пьющих. Их удовольствие сообщалось мне, и я любовался им. Небо и глаза – меж собой друзья; их союз – наслаждение.

Однако это не мешало мне быстро и ловко хлопать стакан за стаканом. И все трое ровно шли в ногу, никто не отставал. Но кто подумать бы мог? Когда каждый из нас подвел итог, оказалось, что на целый глоток опередил всех нотариус.

После того как эта розовая роса нежно увлажнила пищевод и освежила жизненные силы, души наши и лица томно расцвели. Облокотившись на подоконник, мы глядели с

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
умилением, с восхищением блаженным на юную весну, на веселое солнце, ласкающее
первый пушок тонких тополей, на излучистую речку в долине среди полей,
резвящуюся как собачонка; и оттуда доносились звонко стук колотушек, смех
прачек, кваканье уток-болтушек. И Шумила, прояснившись, говорил, подергивая то
меня, то Ерника за рукав:

– Как сладко жить на этой земле! Возблагодарим Отца Небесного за то, что Он нам
всем троим дал здесь родиться. Смотрите! Что может быть прелестней, улыбчивей,
милей, умильней, соблазнительней, пухлее, сочнее, изящнее! Слезы
навертываются на глаза... Просто хочется съесть его, мерзавца!

Мы, кивая, поддакивали, как вдруг он снова разгорячился:

– И как это его угораздило создать на земле животных таких! Он был прав,
конечно. Он, полагать надо, знает, что делает... Но я предпочел бы, чтоб он был не
прав и чтоб паства моя пошла к черту: погостила бы, что ли, у инкосов или у
султана турецкого – мне все равно где, – только бы здесь не оставалась.

Мы сказали ему:

– Шумила, люди везде одинаковы. Что те, что другие. Не стоит менять.

– Значит, – продолжал он, – были сотворены они не для того, чтобы быть мною
спасаемы, а для того, чтобы я сам мог спастись, горемычничая на земле.
Согласитесь, кумы, согласитесь, что худшее ремесло – это ремесло сельского попа,
который выбивается из сил, вбивая священные истины в каменные лбы этих дурней.
Тщетно кормишь их соком Евангелия, тщетно в рот ребятишкам суешь сосец
Катехизиса: молоко у них тут же выливается из носу; нуждаются эти зобища в более
грубой пище. Пожуют они первый слог молитвы, пропоят псалом по-ослиному, но не
прочувствуют ни слова единого. И сердце, и желудок остаются пустыми. Они просто
язычники, как всегда и были. Напрасно в продолжение многих веков мы изгоняем из
ручьев, из лесов, из полей духов и фей; напрасно мы дуем (вот-вот щеки и легкие
лопнут), задуваем снова и снова эти адские факелы для того, чтоб во мраке
выделялся резче единственный свет, свет Бога истинного. Никогда не могли мы
убить этих бесов земных, суеверие гнусное – душу вещества. Старые дубовые пни,
черные валуны продолжают скрывать это дьявольское отродье. А сколько из них мы
разбили, подрезали, искрошили, сожгли, искоренили! Пришлось бы перевернуть
каждую кочку, каждый камень, всю землю Галлии, матери нашей, чтобы окончательно
оторвать беса, который вцепился ей в тело; но и этого мало. Природа проклятая
проскальзывает у вас меж пальцев; вы ей лапы отрубаете, а у нее вырастают
крылья. На месте каждого уничтоженного бога появляется десять новых. Все – бог,
все дьявол для этих варваров. Они верят в оборотней, в белого коня безглавого и
в черную курицу, в исполинского змия, в эльфов и в колдующих уток... Вообразите
же, какой должен иметь вид среди всех этих искалеченных чудовищ, вырвавшихся из
ковчега Ноева, кроткий Сын Марии и плотника благочестивого!

Ерник отвечал:

– Кум, “око – чужое око видит, но не видит себя самого”. Твои прихожане безумны,
нет слов; но ты сам – ты здоров? Поп, не тебе говорить; ты как они поступаешь
точь-в-точь. Неужели святые твои лучше их эльфов и фей? Недостаточно было иметь
одного Бога в трех или трех в одном, да еще богиню-мать; пришлось населить ваш
Пантеон кучкой божков в штанах и в юбках, дабы заместить тех, которых вы
разбили, и заполнить чем-нибудь опустевшие ниши. Но, Боже правый, боги эти не
стоят старых! Темно их происхождение. Отовсюду вылезают, как улитки, кривобокие
боги, жидкие, вшивые, неумытые, струпьями покрытые, в ранах и в шишках. Один
выставляет вместо руки окровавленный обрубок, а на бедре у него лоснящаяся язва;
у другого в виде изящной шляпы – всаженный топор. Этот прогуливается, держа под
мышкой свою собственную голову; тот с гордостью вытряхивает кожу свою, как
рубашку. Но зачем идти так далеко: что сказать, поп, о святом, восседающем в
церкви твоей, о столпнике Симоне, который сорок лет простоял на одной ноге,
подобно цапле?

Шумила вздрогнул и воскликнул:

– Стой, язычник. Брани, коль хочешь, других святых. Я не обязан защищать их. Но
этот – мой святой, мой... я у него в доме. Мой друг, будь вежлив.

Перевод- Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru – Так и быть (я твой гость). Оставим его стоять на лапке; но скажи мне, что думаешь ты об аббате Корбиньи, утверждающем, что у него есть в бутылках молоко Пресвятой Девы; и как тебе нравится господин Сермизель, который однажды, страдая от поноса, употребил в виде промывательного средства раствор мощей в святой воде?

– Что думаю? – сказал Шумила. – Думаю, насмешник, что, если б у тебя болел живот, ты, пожалуй, поступил бы так же. Что же касается аббата Корбиньи, то и он, и вообще все эти монахи, чтоб только переманить наших покупателей, торговали бы молоком архангельским, сливками ангельскими и маслом серафимским. Не будем говорить о них. Монах и поп что собака и кот.

– Итак, Шумила, не веришь ты в мощи?

– В эти – нет. Но у меня есть другие: святой Диетрины ключица, очищающая мочу и угреватые лица. А также лобная кость святого Ступа; благодаря ей бес из брюха овечьего прочь ступает. Не смей смеяться. Ты что, Ерник, ерзаешь? Или вправду не веришь? У меня есть свидетельства, на пергаменте писанные, слепец сомневающийся. Пойду принесу их. Увидишь, увидишь их подлинность!

– Сиди, сиди, оставь свои бумаги в покое. Ведь и ты сам не веришь. Вижу я, – нос твой движется. Какая б она ни была, – откуда бы ни пришла, – кость всегда только кость, и тот, кто боготворит ее, – идолопоклонник. Всякой вещи свое место: место мертвых на кладбище. Я же верю в живых, верю, что светит солнце вовсю, что сам я пью и рассуждаю – и рассуждаю отменно, верю, что дважды два – четыре, что земля наша – неподвижное светило, потерянное в пространстве крутящемся; верю в нивернейца Гви Кокиля и могу, если хочешь, тебе наизусть прочесть с начала до конца его сборник Обычаев; верю также тем книгам, сквозь которые наука и опыт человеческий просачиваются по капле; и сверх всего верю в свой рассудок. И (само собой разумеется) верю в слово Божие. Нет человека осторожного и мудрого, который бы сомневался в истине его. Ты доволен, поп?

– Нет! – воскликнул тот, не на шутку раздраженный. – Кто ты: кальвинист, еретик, гугенот? Бранишь Библию, учишь мать свою – Церковь, думаешь (змеиный выкидыш!) обойтись без отца духовного?

Ерник, рассердившись в свою очередь, заявил, что он не позволит, чтоб его считали протестантом, что он истинный француз, истый католик, но притом человек сознательный, у которого два крепких кулака, да и ум не однорукий, что в полдень он видит без очков, зовет дурака дураком, а его – Шумилу – тремя дураками в одном или одним в трех (как ему больше нравится), и что, наконец, он, почитая Бога, почитает человеческий разум, лучший луч этого великого светила.

* * *

На сем они оба замолкли и стали пить, ворча и дуясь, облокотившись на стол спиной ко мне. Я же расхохотался. Тогда они заметили, что я еще ничего не сказал, и я внезапно сам заметил это. До этой минуты я был занят тем, что наблюдал их и слушал, развлекаясь их доводами, отражая на лице своем каждое их выражение, повторяя про себя каждое слово, беззвучно шевеля губами, как кролик, жующий лист капусты. Но вот эти страстные спорщики потребовали, чтобы я высказался за одного из них.

– Стою за обоих, – ответил я, – и еще за несколько других. Мало ли кто рассуждает о том же? Чем больше безумцев, тем больше смеха, чем больше смеешься, тем мудрее становишься. Когда, друзья мои, вам хочется точно узнать все, что вы имеете, начинаете вы с того, что на листе выписываете ряд чисел; потом складываете их. Отчего бы таким же образом не соединить звенья ваших воззрений? Быть может, все вместе они составляют истину? Истина вам кукиш показывает, когда вы пытаетесь ее схватить сразу. Да, дети мои, все на свете объясняется по-разному, и объяснений много. Я принимаю всех ваших богов, и языческих, и христианских, а также – бога разума.

При этих словах они оба, разгневавшись, обозвали меня скептиком и афеем.

– Что же вам нужно? Что вы хотите от меня? Если ваш Бог или ваши боги, закон или законы приходят ко мне, я их принимаю. Я – гостеприимен. Господь мне очень

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru нравится, а святые его – еще больше. Я люблю их, почитаю, улыбаюсь им... И они, добрые люди, – тоже не прочь со мной покалякать. Но должен признаться, что одного Бога мне недостаточно. Что поделаешь? Я жаден – а меня заставляют поститься. У меня есть и свои святые, феи и духи, небесные и земные, древесные и водяные; я верю в разум. Верю также безумцам, ясновидящим да колдунам, люблю воображать, как земля качается среди облаков, и я бы желал беспрестанно трогать, разбирать и вновь пускать в ход чудесные пружинки и колесики мировых часов. А также люблю слушать, как звенят небесные сверчки, круглоглазые звездочки, люблю примечать в луне человека с вязанкой хвороста... Вы пожимаете плечами? Вы – вы стоите за порядок. Что ж, порядок имеет свою цену. Но нужно платить. Порядок – значит не делать того, что хочешь, и делать то, чего не хотел бы: протыкать себе один глаз, чтобы лучше видеть другим, вырубать леса, чтобы проводить большие прямые дороги. Это удобно, удобно. Но, Господи, как это некрасиво! Я старый галл; много вождей, много законов, все братья, и каждый для себя. Верь мне, не верь, но не мешай мне поступать как я хочу – верить или не верить. Почитай разум. А главное, друг мой, не трогай богов. Они кишат, кипят, льются сверху, снизу, над головой, из-под ног; земля от них раздулась, как свинья поросая. Я их всех уважаю. И я вам позволяю мне привести и других. Но вы не сможете отнять у меня ни одного и не заставите меня ни одного разжаловать, – если, разумеется, мерзавец не слишком злоупотребит моей доверчивостью.

Ерник и поп спросили жалостливо, как я нахожу путь свой среди всей этой сумятицы.

– Нахожу его без труда, – сказал я. – Все тропинки мне знакомы, я гуляю там свободно. Когда я иду лесом из Шаму в Везлэ, неужели вы думаете, что мне нужна большая дорога? Я иду с закрытыми глазами, путями облавщиков. И если я, может быть, и опаздываю – зато прихожу домой с полной сумой. Все в ней на своем месте, все разложено бережно – рядком, да под ярлыком. Бог – в церкви, святые – в часовнях; феи – среди полей, разум – за моим лбом. Живут они в согласии: у каждого есть подруга, работа и дом. Они не подчинены неограниченному правителю; но, подобно жителям Берна и соседям их, образуют между собой союзы. Некоторые из них слабее других. Но не гнушайся ими. Против сильных иногда нужны слабые. Конечно, Господь могущественнее фей. А все же и он должен быть с ними ласков. И он один не сильнее, чем все вместе взятые. Сильный всегда найдет более сильного, который и проглотит его. Глотатель проглатывается. Да... Я, видите ли, твердо верю, что все-таки самого великого Господа Бога еще не видал никто. Он очень глубоко, очень высоко, совсем в глубине, совсем в вышине. Как и наш король. Мы знаем (слишком хорошо знаем) его людей, слуг и солдат. Но он сам остается в своем Лувре. Сегодняшний Бог, тот, которому все молятся, это, так сказать, господин Кончини... Ладно, ладно, не бей меня, Шумила. Я скажу, чтобы тебя не раздражать, что это не он, а наш добрый герцог, господин Нивернейский (Господь его храни). Я почитаю его и люблю. Но перед властелинами Лувра он все же уползает во мрак, и хорошо делает. Да будет так.

– Да будет так! – воскликнул Ерник. – Но, увы, это не так. “В отсутствие господина слуга зазнается”. С тех пор как умер наш Генрих и королевство обабилось, принцы забавляются прялкой, прядильницей. “Забавы принцев радуют только их самих”. Эти воришки суют нос в великий садок и опустошают сокровищницы Арсенала, полные золота и грядущих побед, казну, оберегаемую господином Скулли. Гряди, мститель, и заставь их выплюнуть душу вместе со съеденным золотом!

К этому мы еще добавили многое, но передать слова наши было бы неосторожно. Мы стройно пели одну и ту же песнь. Сделали мы несколько вариаций на тему принцев в юбках, лжепророков в туфлях, жирных прелатов и монахов-бездельников. Я должен сказать, что Шумила в данном случае нашел самые лучшие, самые яркие созвучия. И наша троица продолжала в полном согласии, переходя от приторных к ядовитым, от лицемерных к слепо верующим, перебирая ханжей всевозможных, безумных и полоумных, всех тех, которые, желая воспитать в нас любовь к Богу, думают вселить ее в тело ударами дубины или кинжала. Бог не погонщик ослов: не палкой он действует. А кто безбожничает – пусть идет к черту. Нужно ли еще кочить и жечь его при жизни? Оставьте нас в покое. Пусть живет каждый, как хочет, во Франции нашей и дает жить ближнему своему. Христианин – из всех самый нечестивый: он не понимает, что Христос был распят не только за него. Добрый и злой, в конце концов, похожи друг на друга, как две капли воды.

После чего, устав говорить, мы запели в три голоса, затянув хвалебную песню в честь Вакха, единственного бога, в бытии которого никто из нас не сомневался.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Шумила громко объявлял, что его он предпочитает всем тем, которых славят мерзкие монахи Лютера и Кальвина да всякие косноязычные проповедники. Вакх же отчетливый, осязаемый бог, достойный уважения, – бог из древнего рода французского... – что говорю? – христианского, дорогие братья: разве Иисус не бывает изображен на некоторых старинных картинах в виде Вакха, попирающего грозди? Выпьем же, друга, за него, за Искупителя нашего, христианского Вакха, смеющегося Иисуса, чья пурпурная чудная кровь струится под зелень наших холмов, вносит благоухание в виноградники наши, в душу и в речь, и льется и льется – сладчайшая, любвеобильная, милостивая, невинно-насмешливая, льется через ясную Францию... Да здравствует радость и разум!

Но пока мы чокались, прославляя французский веселый здравый смысл, который во всем избегает крайности (“между двух мнений садится мудрец”... а потому садится он часто на пол), пока мы разглагольствовали, грохот закрываемых дверей, стук грузных шагов на лестнице, заглушенные восклицания (“ох, Иисусе Христе, ох, Господи!”) и тяжелые вздохи известили нас о нашествии ключницы попа, по прозванию Попойка.

Она отдувалась, утирая свое широкое лицо уголком передника и восклицая:

- Скорей, скорей. На помощь, батюшка!
- В чем дело, дура ты этакая? – спросил тот нетерпеливо.
- Они близятся, близятся. Это они!
- Да кто же? Гусеницы, гуськом ползущие через поля? Я тебе уже сказал: не смей напоминать мне об этих язычниках – моих прихожанах.
- Но они вам угрожают!
- Чем? Судом? Мне-то что! Я готов. Пойдем.
- Ах, сударь, если б это было так!
- В чем же дело? Говори.
- Они там, у Великого Пика, – колдуют, заклинания творят и распевают: “Покидайте, мыши и жуки, покидайте поля, забирайтесь к попу в сад и в погреб”.

При этих словах Шумила так и подскочил.

– Ах, проклятые! Жуки в моем плодовом саду! И в моем погребе! Ах, они режут меня! Они уже не знают, что выдумать! Ах, Господи, ах святой Симон, придите на помощь к вашему служителю...

Мы, смеясь, попробовали было его успокоить.

– Смейтесь, смейтесь, – крикнул он. – Вы на моем месте, умники, не смеялись бы столько. Заслуга невелика: будь я в вашей коже, я бы смеялся тоже. Но хотел бы я видеть, как приняли бы вы подобное известие, как стали бы накрывать стол, готовить комнату для принятия этих гостей. Их жуки! Какая гадость. А мыши... Не хочу, не хочу! Это черт знает что такое...

– Но позволь, – сказал я, – разве ты не священник? Отклони заклинанья их. Разве ты не во сто раз умнее прихожан своих? Разве ты не сильнее их?

– Эх, эх. Как знать! Великий Пик очень хитер. Ах, друзья мои! Ах, друзья! Какая новость! Какие разбойники! А я-то был так спокоен, так доверчив. Ах, ничего нет верного на свете... Один Бог велик. Что могу я сделать? Я пойман. Они держат меня. Поди, милая, поди скажи им, чтоб они остановились. Впрочем, нет. Я сам иду, сам иду, – ничего не поделаешь. Ах, мерзавцы! Когда, в свою очередь, я буду в предсмертный их час властвовать над ними!... А пока (Fiat voluntas [да будет воля (лат.)]) я должен исполнять все их прихоти. Ну что ж, надо выпить чашу. Я выпью ее. Это не первая...

Он встал. Мы спросили:

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Куда же ты собираешься?

– В крестовый поход, – ответил он, – против майских жуков.

ПРАЗДНЫЙ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

Апрель, тонкая дочь весны, худенькая девонька, я вижу твои глаза прелестные, я вижу, как цветут грудки твои крошечные на ветке абрикосовой, на ветке белоснежной, чьи заостренные розовые почки солнце нежит утром свежим, под моим окном, в саду моем. Что за утро славное! И как отрадно думать, что увидишь, что видишь уже этот день. Я встаю, руки заламываю: о приятный, хрустящий отзвук труда долгого, упрямого!

Мы хорошо поработали, я и помощники мои, за последние две недели. Наверстать часы принужденной праздности мы хотели – опилки так и летели, и дерево пело под стругом. Но, увы! эту жажду труда не утоляют заказы. Нам приходится туго. Покупателей мало; иной-то берет, да платить не спешит, выдыхаются кошельки, истекают кровью сокровищницы; но жизни все еще много в наших мышцах и в наших полях. Земля плодородна. Из нее сотворен я, и на ней я живу. *Ara, ora et labora* [Паши, молись и трудись (лат.)]. Королем будешь скоро, мы короли в Клямси или же станем ими, черт возьми: ибо я слышу с утра, как шумят плотины, скрежещут меха кузнецов, пляшут звонкие молоты на наковальне, топоры мясников рубят кости на склизкой доске, фыркают лошади на водопое, поет и гвозди вбивает сапожник; слышу скрип колес на дороге, стук башмаков деревянных, щелканье бичей, болтовню прохожих, голоса, колокола, гаканье города работающего, приговаривающего: “*Pater poster* [Отче наш (лат.)], месим тесто, месим *panem nostrum* [Хлеб наш (лат.)] ежедневный, покамест сам его не дашь. Это все-таки верней”.

А над головой моей – милое небо синей весны, белые облака, гонимые прихотью ветерка, и солнце юное, и воздух прохладный.

И мне чудится: молодость воскресает. Она возвращается стремительно из глубины времен, чтоб снова свить, как ласточка, гнездо свое под навесом старого сердца, ожидающего ее.

Дивная, дальняя, как радуется твое возвращенье! Радуетесь ты гораздо больше, гораздо полнее, чем в начале жизни...

В это мгновенье скрипнул жестяной петушок на крыше, и услышал я визгливый голос моей старухи, что-то кричащей, кого-то зовущей – быть может, меня. Я старался не слушать, – но, увы, пугливая ласточка молодости исчезла. Ах, подлый петушок!

И вот яростная моя подруга, приблизившись, оглушает меня своей вечной песнью:

– Что ты здесь делаешь? Что валандаешься? Верхогляд проклятый! Чего встал, разинув пасть, подобно колодцу? Ты птиц небесных пугаешь. Чего же ты ждешь? Того ли, что жареный жаворонок или плевков ласточки попадет тебе прямо в рот? А я-то пока убиваюсь, потом обливаюсь, из сил выбиваюсь, как старая кляча, угождая тебе, урод!

– Что же, бедная женщина, таков жребий твой!

– А вот нет, нет! Всевышний не предполагал, что на нас ляжет вся работа, а что Адам, заложив руки за спину, пойдет себе гулять беззаботно. Я хочу, чтоб он тоже мучился, и хочу я, чтоб он скучал. Сам Бог пришел бы в отчаяние, если б было иначе, если б Адам веселился. Но, по счастью, я здесь и мне, мне поручено исполнять его святые желанья. Перестанешь ли ты смеяться? Работай, работай, коль хочешь быть сытым. Он словно не слышит! Ну, пошевеливайся...

Я отвечаю с кроткой улыбкой:

– Да, разумеется, моя красавица. Грех сидеть дома в такое прекрасное утро.

Возвращаясь в мастерскую, кричу подмастерьям:

– Друзья, мне нужна гибкая, гладкая, твердая доска. Посмотреть иду, не найду ли такую на складе у Рейка. Эй, Конек, Шутик! Пойдемте выбирать.

Мы втроем вышли. А старуха моя все кричала. Я сказал:

– Пой, милая, пой.

Но это был излишний совет. Что за музыка! Я стал свистеть, чтобы дополнить ее.

Добрый Конек говорил:

– Что вы, хозяйка, можно подумать, что мы отправляемся в длинное путешествие! Через четверть часа будем дома.

– Этому разбойнику, – ответила она, – никогда нельзя довериться.

* * *

Было девять часов. Мы шли в Беян, – путь недолог. Но на мосту Бевронском мы остановились (это вежливости долг), чтобы приветствовать фигу, Треску и Гадюку, которые начинали день с того, что глядели на протекающую воду. Побранили, похвалили погоду, потом пошли дальше, как и полагается. Люди мы добросовестные, выбираем путь кратчайший, не разговариваем с встречными (правда, что ни одного и не было). Но только живо воспринимая красоту природы, любуешься небом, первыми весенними ростками, – а там в овраге цветет яблоня, там скользнула ласточка, – останавливаешься, рассуждаешь о направлении ветра... На полпути вспоминаю вдруг, что я еще сегодня не видел Глаши. Говорю:

– Идите себе. Мне нужно сделать крюк. У Рейка я вас догоню.

Когда я пришел, Марфа, дочь моя, занималась тем, что мыла, воды не жалея, лавку свою, но это не мешало ей болтать, болтать, болтать то с тем, то с другим, с мужем своим, с приказчиками да с Глашей, да с двумя-тремя зашедшими кумушками, хохотала она во все горло и не переставала болтать, болтать, болтать. Кончив, она с размаху выплеснула ведро на улицу. Я стоял близ порога, любуясь ею (у меня и сердце и глаза радуются всякий раз, как я гляжу на это яркое мое создание), и таким образом поток воды хлестнул меня по ногам. Она только пуще стала смеяться, но я хохотал еще громче. Вот она, смеющаяся галльская красавица! Я видел ее черные волосы, полускрывающие лоб, густые твердые брови, горящие глаза, и губы, горящие еще больше, красные, как пламя угля, сочные, как спелые сливы, и голую шею, и голые руки, и решительно скрученную юбку.

– Ты вовремя подоспел, – заметила она. – Все ли ты получил, по крайнего мере?

Я отвечал:

– Почти все; впрочем, я воды только тогда боюсь, когда она в моем стакане.

– Входи, – сказала Марфа, – входи, Ной, не взятый волной, Ной-виноделец.

Вхожу, вижу Глашу в коротком платьице, у прилавка притаившуюся.

– Здравствуй, булочка!

– Бьюсь об заклад, – сказала Марфа, – что я знаю, почему ты так рано дом свой покинул.

– Ты не можешь проиграть. Ты хорошо знаешь причину, она тебя вскормила.

– Так, значит, – мать?

– Вестимо!

– Как трусливы мужчины!

Как раз входил флоридор, и это словцо ему брызнуло прямо в лицо. Он насупился.

Я же сказал:

– Это мне предназначено. Не обижайся, друг.

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Есть и для двух, – сказала она. – Раздели, не жадничай.

Тот все хранил вид задетого достоинства. Он истинный мещанин. Он не допускает, чтобы могли смеяться над ним; и когда видит нас вместе, он косится, наблюдает, пылливый и подозрительный, стараясь угадать, какие слова выйдут из наших смеющихся уст.

Бедные мы простаки! Как нас чернят!

Я сказал бесхитростно:

– Ты шутишь, Марфа; я знаю, что Флоридор хозяин в доме своем. Он не раздавлен, как я, под чужим башмаком. Его Флоридориха кротка, скромна, безвольна, безмолвна, послушна, добра. Она унаследовала от своего бедного, забитого отца эту робость и покорность...

– Долго ли ты еще будешь смеяться над людьми, – заметила Марфа, которая, опустившись на колени, снова принялась тереть (я же тебя, я же тебя, тру, тру поутру), тереть стекла и половицы с яростной радостью.

Она работала, я глядел на нее, – и мы оба между тем вели и трезвые и резвые речи. А в дальнем углу лавки, которую Марфа наполняла движением, бодрым разговором, всей крепкой жизнью своей, – притаился сумрачный Флоридор, ужаленный, накрахмаленный. Он в нашем обществе никогда не чувствует себя свободным. Сырые словечки, полнокровные галльские шутки коробят его, оскорбляют в нем чувство достоинства. Он не может понять жизнерадостных. Сам он маленький, бледненький, худенький, хмурый; он любит жаловаться по всякому поводу. Его шея куриная была полотенцем обвернута, он казался встревоженным, глаза его бегали.

Наконец он сказал:

– Мы здесь на ветру, словно на башне стоим. Все окна открыты.

Марфа, не переставая тереть, отвечала:

– Что же делать, мне душно.

Флоридор попробовал было устоять, но не выдержал (по правде сказать, ветерок был свеженький) и вышел разгневанный.

Та подняла голову и сказала добродушно-насмешливо:

– Хотел бы распечь, да пошел печь.

Я хитро спросил, продолжает ли она жить в мире и согласии с мужем своим. Она и не думала отрицать это. Ах, упрямая! Если уже она совершила ошибку, можно четвертовать ее – она не сознается в ней.

– Отчего бы и не быть согласию? – сказала она. – Он мне приходится по вкусу.

– Еще бы. Я сам бы отведал. Но у тебя рот большой; ты скоро съедаешь пирожок такой.

– Нужно удовлетворяться тем, что есть.

– Хорошо сказано. А все-таки на месте пирожка я, признаюсь, не совсем был бы спокоен.

– Отчего? Ему бояться нечего, я честно торгую. Но пускай и он сам поступает как должно. Измени мне, попробуй-ка, брат. В тот же день я скажу: “Ага, ты рогат”. У каждого доля своя. Это – мое, это – твое. Итак, исполняй свой долг.

– Исполни до конца, – я добавил.

– Конечно. Посмел бы он жаловаться, что девица слишком прекрасна.

– Ах, чертовка. Если не ошибусь, – ты отвечала за всех, когда гусь принес приказ от небес.

– Я знаю немало гусей, но только бесперых. Какого ты разумеешь?

– Разве ты не слыхала, – спросил я, – рассказа о гусе, которого кумушки к Отцу небесному послали. Они просили, чтоб детишки, только-только вылупившись, уж могли разгуливать... Отвечал Господь: что же, я не прочь (он любезен с дамами). Но взамен поставлю я условие маленькое: чтоб отныне жены, девы, девочки спали б одинешеньки... С посланьем этим верный гусь спустился с неба. К сожаленью, там я не был и не видел, как он прибыл... Но я знаю, что посланник наслышался слов таких...

Марфа, сидя на корточках, остановилась и разразилась неистовым хохотом. А потом, толкая меня, с ног сшибая, воскликнула:

– Старый болтун! Горшок с горчицей, болтун, слюнтяй, замуслюга! Ступай, ступай вон отсюда. Пустомеля! И на что ты годишься? Теряю с тобой только время. Ну, убирайся. И уведи с собой собачонку эту бесхвостую, Глашу твою. Она все у меня в ногах путается; только что я выгнала ее из пекарни, а вот она снова, кажется, сунула лапки в тесто (так и есть, нос весь белый). Отправляйся-ка вместе. Дайте мне, бесенята, дайте мне поработать спокойно, а не то я пойду за метлою...

Она нас вытолкала. Мы пошли, очень довольные, направляясь к Рейку. Немного только замешкались мы на берегу Ионны. Глядели, как удят, советы давали. И очень радовало нас, когда нырял поплавок или выпрыгивала уклейка из зеленого зеркала. Но Глаша, видя на крючке червяка, который корчился от смеха, сказала мне с детским отвращением:

– Дедушка, ему больно, он будет съеден.

– Ну конечно, деточка, конечно, – отвечал я. – Для него это только маленькая неприятность. Не нужно думать об этом. Подумай лучше о том, кто съест его, о блестящей рыбе. Она скажет: “как вкусно!”

– Но если бы ты, дедушка, был на месте червячка?

– Ну что ж, я бы тоже сказал: “как вкусно! Счастливый мерзавец! Как везет тому молодцу, который меня глотает”. Вот, моя девочка, вот каким образом удается дедушке быть довольным всегда. Я ли ем, меня ли едят, все хорошо. Нужно только разместить это у себя в голове. Все хорошо, все вкусно, говорит бургундец.

Так рассуждая, мы незаметно дошли (еще не было и одиннадцати). Конек и Шутик мирно ждали, вытянувшись на берегу; последний, прихвативший на всякий случай удочку, поддразнивал рыбку. Вошел я в сарай. Когда нахожусь среди прекрасных деревьев, простертых, совсем оголенных, и запах приятный опилки меня опьяняет – тогда все равно мне: пусть годы и воды текут, протекают. Без конца я их нежные бедра ласкаю. Дерево больше люблю я, чем женщину. У всякого есть своя страсть. Уж я выбрал, а все не могу оторваться. Если б я был у султана и видел на рынке избранницу сердца – среди двадцати обнаженных прекрасных рабынь, – неужели любовь помешала бы мне, мимоходом, глазами ласкать красоту остальных? Нет, я не глупец. Зачем же Господь даровал мне глаза ненасытные? Для того ль, чтоб держать их закрытыми? Нет, я распахнул их, как двери широкие. Все входит, ничто не теряется. Я, испытанный, зоркий, умею сквозь хитрость убогую женщины мысли, желанья ее разглядеть; и также под гладкой иль грубой корою деревьев моих разгадать я могу затаенную душу, которая выглянет из скорлупы, – если я захочу быть наседкой.

Пока я решаюсь, нетерпеливый конек сердится (он глотает, не глядя; только мы, старики, умеем смаковать) и переругивается со сплавщиками, которые разгуливают на том берегу или же стоят, оцепенев как цапли, на мосту Беяна. В обоих предместьях нравы те же. По целым часам, раздавливая ягодицы о перила, прохлаждаешься на реке, а то освежаешь рыло в соседнем кабаке. Обычная беседа между жителем Беврона и жителем заречным состоит из прибауток. Эти господа обзывают нас мужиками, бургундскими улитками и навозными жуками. Тогда мы стреляем тоже, именуя их жабами и рыбьими рожам. “Мы”, говорю, ибо, когда молебствие слышу, я по совести должен сказать свое: *Ora pro nobis* [Молись за нас (лат.)]. Да, вежливость раньше всего. Коль с тобой говорят – отвечай.

Честь честью мы перекинулись словечками прихотливыми и только тогда (вот те на,

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru колокольный звон: это полдень. Я потрясен. Погоди, время, погоди. Спешат песочные часы твои), только тогда я прошу добрых сплавщиков помочь нам тележку нагрзуть и отвезти в Беврон дерево, выбранное мной.

Они много кричат:

– Персик проклятый! Ты не стесняешься!

Они много кричат, но слушаются. Они меня любят, в сущности. Домой мы неслись во весь дух. С порогов лавчонок глядели люди, любясь стараньем нашим. Но когда близ Беврона упряжка моя на мосту очутилась и нашла трех других молодцев неподкупных, Фиту, и Треску, и Гадюку, все так же склоненных над тихо текущей водой, то вместо ног языки заработали. Одни презирали других за то, что они какое-то делают дело. А те презирали бездельников. Много песен у каждого было в запасе. Я на камне рубежном сидел и ожидал конца, чтоб наградить лучшего певца. Но вдруг чей-то голос раздался над самым ухом моим.

– Разбойник! Наконец-то! Объяснишь ли ты мне, что ты делал в продолжение девяти часов на пути из Беврона в Беян. Бездельник, болван. Горе мне, горе! Когда б ты вернулся, если б я тебя не поймала? Ну, живее домой. Мой обед сгорел.

Я сказал:

– Награда досталась тебе. А вы не трудитесь, друзья.

Она знает такие песни.. Не придумаешь лучше, хоть тресни. Моя похвала тщеславие в ней разожгла. Нас угостила она еще кое-чем. И воскликнул я:

– Славно! А теперь воротимся домой. Иди вперед. Я за тобой.

* * *

Она шла, держа за руку Глашу, и шагали за ней мои оба помощника. Я, покорный, но неторопливый, собирался последовать, как вдруг ко мне ветер донес ликующий гул голосов в верхнем городе, восклицанья рожков да перезвоны веселье на башне святого Мартына, и я, словно старый охотничий пес, стал обнюхивать воздух в предчувствии новой картины. Вот что было: с господином д'Амази сочеталась девица Лукреция де Шампо, дочь сборщика податей. Все бросаются опрометью и бегут в гору сломя голову к площади замковой, чтобы успеть увидеть вход шествия в церковь. Поверьте, что я не замешкался. находка ведь редкая. Одни только праздншатаи Треска, Фита и Гадюка не соблаговолили отлепиться от моста, объяснив, что унизительно было бы для них, жителей предместья, ходить в гости к представителям городского сословия. Конечно, мне гордость нравится, и самолюбие – прекрасное качество. Но жертвовать ему удовольствием своим – благодарю. Проявление этой любви напоминает мне того попа-наставника, который в детстве драл меня: это-де ради твоего же блага.

Хоть я и проглотил залпом сорокаведерную лестницу, ведущую к святому Мартыну, я достиг площади (увы) слишком поздно. Свадьба уже вошла. Оставалось (и это было совершенно необходимо) ждать выхода ее, но проклятые попы никогда не устают слушать свои голоса. Мне стало скучно. Я с большим трудом, сразу вспотев, протиснулся в церковь, осторожно сдавливая брюшки – добродушные и мясистые подушки; но тут же у паперти меня плотно окутал пуховик человеческий, и я очутился словно в теплой, мягкой постели. Не будь я в святом месте, у меня, признаюсь, появились бы некоторые резвые мысли. Но все в свое время. Иногда следует хранить вид степенный. Это мне так же хорошо удается, как ослу. Невзначай показывается кончик длинного уха, а порой осел даже кричит.

Так и теперь случилось: пока я, набожный и скромный, глядел разинув рот (чтоб лучше видеть) на радостное приношение в жертву целомудренной Лукреции, четыре охотничьих рога святого Губерта, перебивая церковную службу, заиграли в честь охотника; недоставало только своры. Весьма мы о ней пожалели. Я задушил смех; но, естественно, не мог удержаться, чтобы (тихохонько) не просвистеть фанфару. Когда же настал роковой миг, и невеста на вопрос любопытного попа отвечала: “Да”, и трубачи, молодцевато раздув щеки, возвестили затраву, я уже не стерпел и крикнул:

Хохотали бы до утра. Да вошел привратник, не суля мне добра. Я свернулся в комок и, скользя вдоль чужого бедра, выкатился. Очутился я на площади. Там не ощущалось недостатка в обществе. Все это были люди хорошие, умеющие пользоваться глазами, чтобы видеть, ушами – чтоб впитывать, что поймали чужие глаза, языком – чтобы рассказывать то, о чем можно говорить и не видел.

Вовсю я развернулся... Искусно врать можно и не придя издалека. Время прошло быстро – для меня по крайней мере, – и вот под звуки органа распахнулись церковные двери. Появились охотники. Впереди, счастливый и гордый, выступал д'Амази, под руку с добычей своей, которая, как лань, поворачивала туда и сюда свои глаза прекрасные. Не хотел бы я быть охранителем этой красавицы. Будет немало хлопот тому, кто ее увезет. Кто зверя берет, берет и рога. Но я только мельком видал охотника и добычу, закольщика и заколотую. И я бы не мог описать даже (кроме как для хвастовства) одежду удачника и наряд новобрачной. Дело в том, что в этот же миг наше вниманье было отвлечено важным вопросом: в каком порядке должны выступить остальные участники шествия?

Мне говорили, что уже, когда входили они (ах, зачем я там не был), стряпчий кастильянства – он же судья – и шефен – мэр “ex officio” [Вне должности (лат.).], как два барана, сцепились на самом пороге. Но толще, сильнее был мэр, и досталось ему первенство. Теперь же решить мы старались, кто же выйдет первый, кто первый появится на священной паперти? Гадали, спорили. Но не выходил никто. Словно разрубленная змея, передняя часть шествия продолжала свой путь; задняя же – не следовала. Наконец, приблизившись к церкви, мы увидели внутри, слева и справа, у самых дверей наших двух разъяренных зверей, друг другу путь преграждающих. Так как в храме святом кричать они оба не смели, то шевелили губами и носом, выпучивали глаза, выгибали спину по-кошачьи, морщили лоб, тяжело дышали, щеки надували; и все это – безгласно. Мы помирали со смеху. И смеясь и гадая, мы приняли тоже участие. Пожилые стояли за судью, представителя герцога (кто сам уваженья требует, тот всем его проповедует); а юнцы-петушки стояли за мэра, боевого блюстителя наших свобод. Я же был на стороне того, которому больше попадет. И мы кричали каждый своему любимцу:

– Ну-ка, ну-ка, откуси-ка ему гребешок, валяй, проучи гордеца! Ну пошел, пошел, старый осел!

Но эти два глупца только и делали, что выплевывали ярость свою, а не вступали в рукопашную, вероятно, из боязни испортить одежды праздничные. При этих условиях спор бы длился до бесконечности (можно было не опасаться, что иссякнет их красноречие), но пришел на помощь поп, не желающий опаздывать к ужину. Он сказал:

– Мои милые дети, слышит вас Бог, ждет вас пирог; никогда не нужно забывать об ужине. Никогда не нужно досаду свою обнаруживать перед Господом, да еще в храме его. Разберемся мы дома.

Если он этого и не сказал (я ничего не слышал), то, вероятно, смысл был таков: я видел, как его толстые лапы, обхватив головы спорщиков, слили их рыла в поцелуй мира. После чего они одновременно вышли – словно два равных столпа, обрамляющих брюхо попа. Вместо одного главаря – целых три. Ничего не теряет народ, когда ссорятся главари.

* * *

Все они прошли, все возвратились в замок, где приготовлен был ужин заслуженный; а мы, дураки, ротозеи, продолжали стоять на площади вокруг невидимого котла, будто чувствуя запах вкусного. Чтобы наслаждаться, полней называли мы блюда. Нас было трое лакомок – Кишка, Балдахин и Персик – ваш покорный слуга. Мы смеясь переглядывались при каждом выкликаемом кушанье да локтем друг друга подталкивали. Одобряли это, порицали то: можно было бы и лучше выбрать при содействии людей опытных; но все же мы избегли и школьных ошибок и греха смертного; и в общем обед вышел на славу. Когда дело дошло до одного жаркого из зайца, каждый из нас объяснил свой способ приготовления; высказались и слушатели. Но тут вспыхнул спор (это вопросы жгучие; только черствые люди могут обсуждать их хладнокровно). Особенно был он оживлен между госпожой Периной и

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
госпожой Попкой, которые обе готовят праздничные обеды в городе. Они соперницы. Каждая имеет своих сторонников, и за столом одна сторона пытается затмить другую. Великолепные схватки! В наших городах хорошие обеды – те же бои на копьях.

Но хоть я и любитель хитрых прений, ничто так не утомляет меня, как слушать повествование о чужих подвигах, когда я сам бездействую; и я не способен долго питаться соком собственных мыслей и запахом выдуманных блюд. Потому-то я обрадовался, когда Кишка (бедняга тоже страдал) наконец мне сказал:

– Если слишком долго о кушаньях рассуждать, становишься подобен любовнику, который бы слишком много о любви своей говорил. Мочи нет, ох, я близок к гибели, друг мой, пламенею, сгораю, внутренности мои дымятся. Пойдем-ка их поливать и питать зверя, который гложет мне чрево.

– Мы справимся с ним, – отвечал я. – Положись на меня. Против болезни голода лучшее средство – есть, говорили древние.

Отправились мы в трактир “Червонец” на углу Большой улицы. Теперь, в третьем часу пополудни, и думать нельзя было о возвращении восвояси. Мой друг, как и я, слишком боялся найти дома остывшую похлебку и вскипевшую жену.

День был рыночный, зала битком оказалась набита. У себя за столом в одиночестве есть как-то лучше, уютней. Но зато в тесноте среди веселых товарищей лучше ты ешь; итак, все всегда хорошо.

Долгое время мы оба молчали. Зато наши челюсти с хрустом и шелестом признавались в любви солонине с капустой, и она, розовея прелестно, благоухала и таяла. Потом – вина красного добрую кружку, чтоб рассеять туман перед глазами (в старину говорилось: есть, но не пить – себя ослепить). После чего с ясным взглядом и глоткой промытой я снова мог снисходительно глядеть на жизнь и на людей: они кажутся более прекрасными после того, как поел. За соседним столом поп заезжий сидел против старой откупщицы, которая к нему ластилась. Она нагибалась, говорила, вбирая, как черепаха, голову, а то, скрутив ее на сторону, поднимала к нему лицо с улыбкой приторной – словно на исповеди. Тот бочком слушал, но не слышал и на каждый поклон вежливо отвечал поклоном, не теряя, впрочем, ни одного глотка, – и, казалось, говорил:

– Иди, дочь моя, *absolve te* [Отпускаю тебе (лат.).]. Все грехи твои оставлены. Господь добрый. Я хорошо пообедал, ибо Господь добрый. И эта колбаса тоже очень недурна.

Немного поодаль сидел нотариус наш, Деловой, и говорил с собратом, толкуя о собственности, о добродетели, о деньгах, о политике, о договорах, о республике... римской (он республиканец только в стихах латинских; а в жизни – как и всякий осторожный мещанин – он верный слуга королю).

В глубине мой порхающий взгляд отыскал Петруху кухаря в синей блузе, накрахмаленной круто, – Петруху Гордеца, который, в тот же миг подняв глаза, воскликнул, встал, позвал меня (я уверен, что он меня видел с самого начала, но притаился, хитрец; он помнит, что не заплатил за два прекрасных поставца из орешника, которые я для него смастерил два года тому назад). Подошел он ко мне, поднес стакан:

“Все мое сердце, сердце мое вас приветствует... –

поднес еще один. –

Чтоб ходить прямо, на обеих ногах ходить надо...” –

предложил мне пообедать вместе.

Он надеялся, что я, будучи сыт, откажусь. Но я, перехитрив его, сказал, что согласен. Что ж, долг платежом красен. Итак, снова я начал, но ныне степенней, спокойней, чем прежде: голодная смерть мне уже не грозила. Мало-помалу покинули залу невежды, что наскоро жрут, словно звери, насытиться только желая. Лишь добрые люди остались, почтенные и даровитые: благо истину и красоту умеют такие ценить. Хорошее блюдо для них, что хорошее дело.

Дверь открыта была, воздух и солнце вплывали; с порога три черные курочки, вытянув жесткие шейки, крошки клевали под ближним столом между лапами дряхлого сонного пса. С улицы звуки неслись: тараторенье женщин, стекольщика зов, да: "Рыбка, свежая рыбка..." – да где-то по-львиному рычал осел. А дальше, на площади пыльной, два белых вола, запряженных в повозку, лежали недвижно, ноги поджав, с благодушным спокойствием жвакая; и лоснились бока их раздутые. На крыше, согреты солнцем, гулюкали голуби. И мы понимали их счастье. Так было нам всем хорошо, что казалось – погладь нас ладонью вдоль по спине, и мы станем блаженно мурлыкать.

Завязался общий разговор. Все мы были друзья, все братья, все равные: поп, кухарь, нотариус, товарищ его и трактирщица, отмеченная именем нежным (имя то: Целуйка. Она, впрочем, еще дальше пошла). Чтоб удобнее было беседовать, я переходил от одного стола к другому, присаживался тут и там. Говорили о политике. Мысли о черных временах только пополняют послеобеденную усладу. Все эти господа скорбно жаловались на нищету, на дороговизну, на безработицу, мрачно рассуждали о гибели франции, об упадке племени нашего, о правителях, о притеснителях. Но предусмотрительно не называли имен. У великих мира сего и уши велики; того и гляди, из-под двери покажется кончик. Но так как у нас, бургундцев, – истина на дне кружки, то друзья мои, разгораясь мало-помалу, решались поносить тех из хозяев наших, которые были подальше. Особенно попало итальянцам – мерзким блохам, которых наша королева, флорентийская девка дебелая, принесла с собой под полой. Если у себя в кухне вы найдете двух жадных псов – вашего и чужого, – вы прогоните первого, но зашибете второго. Из чувства справедливости да из духа противоречия я сказал, что следовало бы карать обоих псов; слушая ваши рассуждения, говорил я, можно подумать, что во всем виноваты итальянцы и что только всего и есть плохого во франции, что итальянское. На самом же деле у нас, слава Богу, немало других бед, немало других плутов.

Все в один голос ответили, что итальянский плут стоит трех наших, а что три честных итальянца не стоят и трети честного француза.

Я возражал:

– Здесь и там, где бы люди ни жили, звери все те же – один зверь не хуже другого, а хороший человек всегда хорош, живет ли он за горами или рядом сидит. И когда он сидит у меня, я радуюсь и сердечно люблю его, будь он и итальянец.

Тут они все напали на меня, насмехаясь, говоря, что вкус мой известен, называя меня Персиком вечно вертящимся, паломником, бродягой, Персиком пыльным, как придорожник...

Правда, в былые дни странствовал я немало. Когда добрый наш герцог, отец нынешнего, послал меня в Мантую и в Альбиссолу для изучения глазуренья и других искусств, пересаженных с тех пор на почву нашу, – я не жалел ни чужих дорог, ни собственных ног. Расстояние от святого Мартына до святого Андрея Мантуанского прошел я пешком, с палкой в руке. Сладостно путь под ступней распутывать, приятно ощупывать тело земли. Но не следует слишком думать об этом: а то я, пожалуй, снова начну.

Зубоскалят они...

– Э, да что там, – я галл. Я из тех, кто мир разграблял...

– Да ты что награбил? – со смехом они говорят. – Что ты с собою унес?

– Столько же, сколько и галлы. Что видел я – тем и владею. Правда, карманы пусты, но голова всякой всячиной туго набита...

Господи, что за блаженство видеть, слышать, вкушать, а потом вспоминать. Все видеть, все ведать, – увы, невозможно; но возьми сколько влезет. Я словно губка, впитавшая весь океан. Или, вернее, – я гроздь винограда, пузатая, зрелая, полная чудного сока – сока земли. Какая б была выручка, если б ее выдавить! Нашли дурака, братцы. Выпью сам, никому не дам. Да, впрочем, вы пренебрегаете этим питьем. Что же, тем лучше. Не буду настаивать. Когда-то хотел я с вами поделиться теми крошками счастья, которые собрал я, – поделиться волшебными воспоминаньями о странах лучезарных. Но в нашем городке люди не любознательны.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Самое для них занимательное – пронюхать, что делает сосед, а главное – соседка.
“Остальное слишком далеко, не верю в него. Коль хочешь, пойдй погляди; а я
столько же вижу и здесь. Дыра – позади, дыра – впереди, не станешь умней, хоть
весь мир обойди”.

Отлично. Пускай говорят. Заставлять никого я не буду. Не хотите – ну ладно; а
виденное я оставлю у себя за веками, в глубине глаз. Зачем людям счастье дарить
против их воли? Я поступаю умнее: иногда, живя с ними, я счастлив по-ихнему,
иногда же – по-своему. Два счастья лучше, чем одно.

Вот почему, зарисовывая незаметно широкие ноздри Делового и рядом попа, который
словно крыльями бьет, когда говорит, я слушаю и повторяю знакомый мне припев:
“Что за радость, что за гордость родом быть из Клямси”.

И я думаю так, черт возьми. Хороший город, да иначе и быть не могло – он ведь
создал меня. В нем растение разумное вольно живет, соком обильное, без шипов и
беззлбное, разве что злой у него язычок. Мы его хорошо заострили. Ничего –
поноси ближнего, от него не убудет, он тем же ответит, лишь больше его ты
полюбишь.

Деловой напоминает нам (и все мы, даже поп, чувствуем гордость) о спокойной
насмешливости Нивернейца среди безумничанья остальных, – о шеффене нашем,
который отклонял одинаково и еретиков и католиков, Рим и Женеву, бешеных собак
да волков, и святого Варфоломея, к нам приходившего мыть свои руки
окровавленные. Все мы, сплоченные вокруг герцога нашего, образовали островок
здорового смысла, о который волны разбивались. Умер старый герцог, умер и король
Генрих – нельзя говорить о них без умиления. Как мы любили друг друга! Они,
казалось, созданы для нас, а мы – для них. Разумеется, они, как и мы, не были
безгрешны, но недостатки их человечны были и как-то сближали нас. Мы смеясь
говорили: “Верь не верь, а не весь еще вышел Невер” или: “Год будет урожайный, –
детишки так и посыплются, старый волокита наделит нас еще сынком...”

Эх, лучшие денечки-то миновали. Любим мы о них говорить. Деловой знавал герцога
Людовика, я также. Но зато один только я видал короля. Я пользуюсь этим: не
дожидаясь их просьб, начинаю рассказывать в сотый. Мне-то всегда кажется, что
это впервой, им, надеюсь, – тоже (коль душа в них французская), как явился он
мне, король серенький, в шляпе серой, в серой одежде (локти насквозь торчали),
верхом на сером коне, сероволосый, сероглазый, весь серый снаружи, внутри же –
чистое золото...

По несчастью, вбежавший писец перебил меня, объявив нотариусу, что один из его
клиентов при смерти и хочет его видеть. Тот нехотя отправился, но успел, однако,
нас угостить разговором, который он готовил вот уже целый час. Я заметил, как он
вертел его на языке; но живо вставил свою собственную повестушку. Будем
справедливы, – славный был рассказ, хохотали мы от души. В области шуток резвых
Деловой не имеет соперников.

* * *

После чего, успокоенные, смягченные, омытые с головы до пят, мы все вместе вышли
(было, вероятно, часов пять. Что ж, за эти три часочка судьба успела послать мне
– кроме двух жирных обедов и нескольких веселых воспоминаний – заказ нотариуса
на два баула)... Общество разбрелось, предварительно выпив по рюмке наливки
черносородинной у знакомого аптекаря. Там Деловой докончил рассказ свой, а
потом пошел дальше с нами, желая услышать другой, и только у городских ворот
расстались мы окончательно, да сперва постояли брюхом к стенке, отливаясь что
есть мочи.

Так как было слишком поздно и слишком рано домой возвращаться, спустился я вниз
к предместью. Угольщик рядом со мной шел за тележкой своей, звонко дуя в рожок.
Потом мне попался навстречу тележник: бежал и гнал перед собой колесо, и когда
начинало оно ковылять, подскакивал он, ударяя с размаху по ободу. Так
бежишь-надрываешься за колесом торопливой фортуны. Вот хочешь вскочить на него,
а оно от тебя убегает. Я образ отметил, авось пригодится.

Меж тем приходилось решить, каким путем возвратиться – коротким иль длинным.
Пока я решал, из соседней больницы вдруг шествие выплыло с крестом во главе.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Подпирая крест животом, держал его, словно копьё, мальчуган, ростом не выше ноги моей, собрату язык он показывал, косясь на верхушку святого шеста. За ним следом – старца четыре, растопыря опухшие красные руки, несли кое-как в гробу, простыней обернутом, беднягу уснувшего: он, хранимый попом, отправлялся доканчивать сон свой в земле. Из вежливости я его проводил до жилища. Вдвоем веселее идти. А кроме того, мне хотелось послушать вдову, завывающую рядом с попом, говорила она о последней болезни покойника, о том, как лечили его, и о том, как он сам умирал, о его добродетелях, телосложении, любви, о всей жизни его и о жизни супруги. Эта жалоба чередовалась с напевом церковным.

Мы, внимательно слушая, следовали; и по пути набирали сердца сочувственные и уши чуткие.

Наконец восвояси он прибыл – в обитель крепкого сна. Поставили гроб на краю могилы зияющей; и так как бедняк не имеет права уйти в рубахе своей деревянной (можно спать ведь и голым), предварительно сняв простыню и крышку от гроба, в яму свалили труп. Горсточку бросив земли, чтоб плотнее закутан он был, и перекрестившись, чтоб темные сны отстранить, ушел я, весьма собою доволен: все я видел, все слышал, с другими делил и веселье и горе; раздулась котомка моя. Пора возвратиться. Я думал, достигнув слияния обеих рек, пойти бережком вдоль Беврона – до самого дома; но был вечер так чуден, что я, незаметно от города все удаляясь, пошел за Ионной, волшебной влекущей. Спокойная гладкая влага струилась без складки единой на платье лучистом; взор мой был пойман, как рыба, крючок проглотившая; все небо запуталось вместе со мною в сетях чародейной реки. Оно в ней купало свои облака; те плыли, цепляясь за травы и за тростники; и солнце в воде умывало свои золотистые пряди.

Сел я близ старика, пасущего сонно двух тощих коров; справился я о здоровье его, совать посоветовал листья крапивы в чулки, чтобы ноги не ныли (порою не прочь я и знахарить). Поведал он весело мне свою повесть, болезни свои и несчастья, да слегка был обижен, что на пять иль на шесть годков его я моложе считал (а было ему ровно семьдесят пять), – гордился он этим, гордился, что, дольше прожив, он больше имел испытаний. Он не дивился невзгодам, не дивился тому, что страдает и добрый и злой, – ведь зато улыбается счастье и добрым и злым без разбора. В конце-то концов, все равны: богатый и бедный, горбатый и стройный – все почивать они будут спокойно, на лоне Отца единого...

И думы, слова старика, его голос надтреснутый, и кузнечиков звон под травой, водоверт у плотины соседней, запах дерева, дегтя, струящийся по ветру с пристани дальней, влаги теченье и тишь, нежные заблесты – все это вместе сливалось и таяло средь покоя прозрачного вечера.

Старик ушел, я один возвращался; руки сложив за спиной, потихоньку я шел, глядя, как вьются круги по воде. Я был так поглощен хороводом видений на глади Беврона, что забыл, куда я иду и где нахожусь; и вдруг я так и подпрыгнул: с противоположного берега звал меня голос, голос, мне слишком знакомый. Я очутился, очнулся, у самого дома. Моя кроткая подруга – моя жена – мне кулак показывала из окна. Притворился я, что меня занимает быстрина, притворился, что я оглох; а между тем, шутя сам с собой, я глядел, как она металась, руками махала, стоя вниз головой в зеркале влаги речной. Я молчал, втихомолку смеясь, и брюшко подо мной перекатывалось. Чем больше смеялся я, тем глубже ныряло, пошатываясь, отраженье ее возмущенья; и чем больше клевала она головой, тем веселее смеялся я. Наконец она в ярости хлопнула всеми дверьми по очереди и как буря вылетела из дому с целью меня захватить. Слева ли? Справа ли? Как быть? Мы находились между двух мостов. Она выбрала тот, который был справа. И, разумеется, когда я увидел ее на этом пути, взял я влево и вернулся по главному мосту, где как цапля Гадюка стоял, непоколебимый с самого утра.

Очутился я дома. А ночь на дворе. Однако как день-то летит. Я, к счастью, не Тит, этот лентяй, этот Римлянин, который вечно жаловался, что теряет он время. Я ничего не теряю, доволен я своим днем... Но хотелось бы мне два таких или три иметь ежедневно; все мне мало. Только пить начинаю, а стакан мой уж пуст; трещина, что ли, на дне? Я знаю людей, которые долго прихлебывают и все кончить не могут. Или у них стакан глубже? Эй, ты, содержатель трактира под вывеской Солнца, ты, день разливающий, лей мне полную меру. Впрочем, нет! Я, Боже, тебе благодарен, ибо Ты дал мне отраду иную: из-за стола я встаю голодным всегда и так люблю дневную лазурь и ночную мглу, что и той и другой мне все мало. Как ты летишь, апрель! Как ты спешешь, мой день! Ну, что ж. Насладился я солнцем,

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru поймал я его, удержал. И я целовал твои малые грудки, девонька худенькая, весны дочь тщедушная...

Здравствуй, теперь твоя очередь, ночь. Беру я тебя. Мы будем рядышком спать. Эх, вот уж напасть – между нами ведь лежит другая... Старуха моя возвращается.

ЛАСКА
Май

Три месяца тому назад мне дан был заказ – баул с высоким поставцем, для замка Ануанского; но я не мог начать работу, не рассмотрев хорошенько комнаты и в ней – места, ему предназначенного. Ибо такое изделие подобно яблоку в плодовом саду, оно бы не могло существовать без дерева; и каково дерево, таков и плод.

Не говорите же мне о той красоте, которая одинаково хороша и здесь и там, – о красоте, приспособляющейся ко всякой среде, словно корыстная девка. Это – богиня трущоб. Для нас искусство – свой человек, заботливый дух очага, друг, спутник, умеющий ясно выразить то, что смутно мы чувствуем все; искусство – наш домовый. Коль хочешь узнать его самого – узнай его жилище; бог создан для человека, а творение рук человеческих – для того места, которое оно может украсить и заполнить. Красота – это то, что всего прекраснее на своем месте.

Итак, я пошел осматривать будущую обитель создання моего; там я провел большую часть дня, там я пил и питался: да не отвлечет тебя творческий дух от требований плоти. Оба они – и тело и дух – насытились, успокоились, и я, выйдя на дорогу, отправился бодро домой.

Достиг я уже перекрестка, и хотя, бесспорно, мне было известно, по какому пути следовало пойти, а покосился я на другую дорогу, струящуюся через поля, меж цветущих изгородей.

“Как было бы сладко, – шепнул я себе, – вон там побродить! К черту большие дороги, ведущие прямо к цели! Солнечен, долог день. Зачем же, мой друг, опережать Аполлона? Дом от тебя не уйдет. А старуха пускай подождет – язычок ее не отпадет. Боже, как радуется глаз вон сливное то деревцо белокрылое... Пойдем-ка навстречу ему, ведь путь недалек. Вот подул ветерок – и с него, как снежок, посыпались перышки; сколько щебечущих птиц! Благодать, благодать великая! А вот ручеек, мурлыкая, скользит, полускрытый травой, словно котенок, играющий мягким мотком под ковром! А мы следом пойдем. Вот занавеска листвы дорогу ему преграждает. Ручеек-простачок попадет! Э, да куда же он юркнул, хитрюга? Здесь он, вот здесь, под ногами опухшими и узловатыми этого старого лысого вяза. Какова проказа! Но куда же, куда ты, дорога, меня приведешь?...”

Так болтал я, идя по пятам своей тени, игривый; и я притворялся – о лицемерный! – что не знаю, в какую сторону меня увлекает тропинка задорная. Как ты лжешь хорошо, Николка! Ты искусней Улисса, ты надуваешь себя самого. Ты ведь знаешь, куда направляешься. Ты знал это, плут, с той минуты, как замок покинул. Вон там, в версте отсюда, живет – любовь нашей юности, Ласка. Мы ее удивим... Но кто из двух удивится сильнее? Ведь столько лет прошло с тех пор, как я ее видел! Что осталось теперь от лукавого личика, от мордочки тонкой моей Ласки? Теперь-то могу я встретиться с ней без опаски; уж сердце мое она не станет грызть-разгрызать зубками острыми! Сердце мое высохло, как старая лоза виноградная. Да и есть ли у нее зубы еще? Ах, Ласка, Ласочка, как умела смеяться, кусаться ты! Как играла ты бедным Персиком! По воле твоей он вертелся волчком, винтовал, извивался. Что ж! Коли весело было тебе, поступила ты правильно. И осел же я был!...

Снова я вижу себя, ротозея: локти расставив, опираюсь руками о край рубежной стены мастера Ландехи, меня научившего благому искусству ваяния. А с другой стороны, в большом огороде, смежном со двором, нам мастерскую служащим, меж грядок земляники и латука, редисок розовых, огурцов зеленых, дынь золотистых – ходила высокая, ловкая девушка: ноги босы, обнажены руки и шея ее, тяжелые рыжие волосы, да короткая юбка, да сорочка сырцовая, сквозь которую рисуются острые, твердые груди, – вот и вся одежда ее. Несла она в загорелых и крепких руках две лейки, полных воды, раскачивая их над листовными головками растений, раскрывших крошечные рты. И я тоже разинул рот – отнюдь не крошечный. Так ходила она, выливая лейки свои, потом шла к колодцу их наполнять, опускала зараз обе руки,

Перевод- Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru как тростник разгибалась и опять возвращалась, осторожно ступая по мокрой земле борозды, словно ощупывая длинными чуткими пальцами ног ягоды зрелые крупной клубники. У нее были круглые, крепкие колени, как у юноши. Я съедал ее глазами. Она, казалось, не замечала моего взгляда. Но она приближалась, разливая дождичек свой; и когда оказалась совсем рядом, внезапно стрельнула глазом...

Ай, я чувствую, как опутывают меня частые сети этих озер. Как верно сказано: "Пауку подобен женский взор".

Попав в западню, стал я биться. Но поздно уж было! Я, словно глупая муха, прилип к своей клейкой стене.

Она больше мною не занималась. На корточках сидя, она щипала капусту. Но порою лукавица косилась в мою сторону, убеждаясь в том, что добыча попалась. Я видел – злорадно она зубоскалила, и напрасно себе говорил я: "Друг мой бедный, ступай – она над тобой издевается". Видя усмешку ее, я посмеивался тоже. Ну и рожа была у меня, дурацкая рожа!... Вдруг девица в сторону – прыг! Переметнулась через одну грядку, другую, третью, бежит она, скачет, ловит на лету цветень одуванчика, проплывающий мягко по воздушным ручьям, и, руками махая, кричит, на меня глядя:

– Вот и еще влюбленный пойман!

После чего она сунула челнок-пушинку в пройму сорочки, между грудей. Я же, – хоть и дуралей, да не из числа унылых влюбленных, – я крикнул ей: "Суньте и меня туда же!" Тут она расхохоталась и, подбоченясь, ноги расставив, глядя мне прямо в лицо, отвечала:

– Ишь ты, сладстена какой! Нечего зубы точить на яблоки мои наливные...

Так случилось, что под вечер, в конце августа я встретил ее, Ласку, Ласочку, садовницу прекрасную.

Лаской звали ее потому, что у ней, как и у зверька узкомордого, было длинное тело и маленькая голова, – с лукавым пикардийским носом, со слегка выдающимся ртом, широким, смешливым, резким, предназначенным грызть сердца и орешки. Но та нить-паутина, которой тенетница рыжая людей оплетала, извлекалась из глаз ее – сумрачно синих, как даль грозовая ведряного дня, – да из углов ее нежно-русалочных, веселых, язвительных губ.

Отныне, вместо того чтоб работать, я день-деньской ротозейничал на стене своей, покамест нога хозяина, пинком в пепеки, не заставляла меня возвратиться на землю. Иногда же Ласочка кричала, потеряв терпенье:

– Ну что, досыта оглазел, спереди, сзади? Чего еще не видал? А ведь пора тебе знать меня!

Я же, хитро подмигнув, говорил:

– "Непрозрачна дыня, непрозрачна и женщина".

И хотелось же мне ломоть себе отрезать!... Быть может, и плод из иного сада пришелся бы мне по вкусу. Я был молод, резвилась кровь, влекли сердце мое все красавицы подлунные; ее ли я любил? Бывают в жизни дни, когда, кажись, волочился бы за козой в кружевной наколке. Нет, нет, ты кошунствуешь, Николка, ты не веришь сам тому, что говоришь. Первая полюбившаяся – вот истинная, вот единственная, нам предназначенная: звезды ее создали ради нашей услады. Но я не испил из чаши ее, и вот поэтому, верно, меня жажда мучит, жажда вечная, неуголимая.

Как мы понимали друг друга! Только и делали мы, что друг друга раздраживали. У обоих остер был язык. Она поносила меня, я же за каждую осьмушку высыпал четверик. На, выкуси!

Часто смеялись мы до упаду, и она, злую шутку смакуя, наземь бухалась, над грядкою скрючивалась, точно желая согреть свои репы и луковицы.

Вечерком она приходила поболтать у стены моей. Вижу я вновь, как она, и смеясь и болтая, дерзкими ищет глазами в глазах моих недуг мой страстный, пытаюсь

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
заставить его простонать; вижу, как, руки подняв, к себе тянет она ветвь вишенины, всю в красных подвесках; вокруг ее рыжих волос они образуют венец прихотливый, и, вытянув шею, лицо приподняв, она, не срывая плодов, их клюет, оставляя висячие косточки. Образ мгновенья, совершенный и вечный, юность, жадная юность, губами дразнящая сосцы неба! С тех пор сколько раз вырезывал я на дереве, в виде узора гроздистого, изгиб этих рук прекрасных, шеи, груди, ненасытного рта, головы запрокинутой!... А тогда, перегнувшись через стену мою, вытянув руку, схватил я порывисто, оторвал эту ветку, прильнул к ней губами, стал жадно обсасывать влажные косточки.

* * *

Мы встречались тоже по воскресеньям на гулянках, в Веселом Погребке. Мы плясали: я проворен был, как чурбан; но любовь даровала мне крылья: любовь учит, говорят, и ослов плясать. При этом мы с ней, как помнится, ни на миг не переставали браниться... Как меня вередила она, как щедро отпускала ядовитые шуточки насчет носа моего кривого, зияющей ртины, в которой, говорила она, можно было бы испечь пирог, и всего облика моего, сотворенного, как уверяет поп, по образу Бога. (Если это так, – ну и посмеюсь же, когда увижу Его.) Ни на минуту не отставала она. Но и я не был ни заикой, ни калеккой.

Игра длилась, и мы начинали, черт возьми, горячиться... Ты помнишь, Никола, осенние сборы на винограднике Ландехи? И Ласка там работала. Мы стояли рядом, склоняясь среди лоз. Головы наши почти прикасались, и порою рука моя, срывая ягоды, случайно дотрагивалась до бедра ее. Тогда она поднимала лицо свое зардевшееся; словно молодая кобыла, меня лягала она, а то нос мне подкрашивала виноградным соком; и я, не отставая, черную тяжелую гроздь норовил расквасить на шее ее золотистой, опаляемой солнцем... Она защищалась яростно. Тщетно упорствовал я, ни разу мне не удалось совладать с нею. Мы следили друг за другом. Она раздувала огонь и, усмехаясь, глядела как я пламенел.

– Ты меня не поймашь, Николка...

А я, с видом невинным, притаюсь на стене, будто раздувшийся кот, что дремлет притворно, сквозь узкие щелки полураскрывшихся век наблюдая за пляшущей мышкой, – я заране облизывался:

– Ничего, я еще посмеюсь.

Помнится, как-то в полдень, на исходе мая (было тогда гораздо жарче, чем теперь в том же месяце), стоял нестерпимый зной. Небо, подернутое белизной, обдавало дыханьем горячим, словно открытая хлебная печь; в этом гнезде прикурнув, уж больше недели гроза, тужась, наседала, но все понапрасну. Таяло все от жары; рубанок мой плавился, к ладони мой коловорот прилипал. Не слыша голоса Ласки, которая только что пела, глазами искал я ее. В саду – никого...

Вдруг примечаю ее – вон там, на ступени, под тенью лачужки. Дремала она, рот открыв, голову свесив назад. Одна рука праздно висела вдоль лейки. Так ее сон опрокинул с налету. Беззащитная, полунагая, лежала она, как Даная, распростертая сонно-блаженно под пламенным небом. Я себя Юпитером вообразил. Перелез я через стену, раздавил мимоходом листья капусты и латука, в охапку схватил ее, жадно стал целовать; она была теплая, голая, влажная; она отдавалась мне, дремотная, сладостно-томная. Глаза ее были закрыты, губы искали моих губ и возвращали мне поцелуи. Что произошло во мне? Какое странное уклонение! Неистовое желание так и переливалось по жилам моим; я был опьянен, я сжимал это сладострастное тело; желанная добыча, жареный жаворонок – прямо в рот мне попал. И вот (о глупец!) я уже не смел взять ее. Не знаю, что за глупое сомненье нашло на меня. Я слишком любил ее. Мне больно было думать, что я держал тело, связанное сном, а не душу ее, и что торжеству исподтишка над моей гордой садовницей. Я оторвался от счастья, разъединил губы и руки наши, расторгнул узы, сковавшие нас. Нелегко это было: мужчина – пламя, женщина – пакля; мы оба горели, я дрожал и отдувался, как и тот дурень, который победил Антиопу. Наконец я восторжествовал, то есть – удрал. Прошло с тех пор тридцать лет, а все же, вспомнив, краснею. Эх, сумасбродная юность!... Как приятно передумывать прежние промахи, и как дорого это сердцу стоит! С этого дня она стала по отношению ко мне прямой ведьмой. Чудачлива, как три стада беснующихся коз, переменчива, как облака, она то уязвляла меня оскорбительным презрением, то обстреливала томными взглядами,

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru улыбками заманчивыми; спрятавшись за дерево, она метила комом земли, который невзначай расплющивался у меня на затылке, или же – бац по щипцу! – попадала в меня сливняной косточкой, когда я воздух обнюхивал. И притом она на гулянках кудахтала, кукарекала, калякала с кем попало. А худшее было то, что она, пытаясь вконец мне досадить, надумала на крючок посадить молодца моего же пошиба, лучшего моего товарища, по прозванию Пинок. Он и я, мы были словно два пальца одной руки, – Орест и Пилад. Не было такой драки или попойки, где б одного без другого видели, действующего либо челюстями, либо кулаком. Он был жилист, как дуб, коренаст, твердоплечий и твердоголовый, прямой на словах и на деле. Он убил бы всякого, кто вздумал бы на меня напасть. Его-то она и выбрала, чтоб повредить мне. Это ей было нетрудно. Достаточно четырех вкрадчивых взглядов да полдюжины ужимок обычных. Напускать на себя вид невинности, томности, дерзости, усмехаться, шушукать, миндальничать, моргать, мерцая ресницами, зубки показывать, губу то прикусывать, то язычком заостренным облизывать, шеей вертеть, на ходу извиваться да задом подпрыгивать, как трясогузка, – вот вековые приманки дочери змия – не устоишь перед ними! Пинок же утратил свой слабый рассудок. С тех пор мы оба торчали рядком на стене и, как в бреду задыхаясь, следили за ласницей. Мы уже молча кидали друг на друга яростные взгляды. Она же огонь мешала и, чтоб он бойче горел, порой орошала его ледяной струей. Я хохотал до упаду, несмотря на досаду. Но Пинок, точно конь ретивой, копытом бил землю, вернувшись на двор. Он чертыхался неистово, проклинал, угрожал, бушевал. Он был не способен понять шутку, если только не он ее сочинил (и, кроме него, никто в этом случае не понимал ее; он же хохотал за троих). Кокетка меж тем наслаждалась, как муха в меду, так и впивая любовную ругань; грубый этот подход не в моем был вкусе; и хотя галлианка лукавая, девица задорная, была ближе ко мне, чем к этому жеребцу, который ржал, дыбился, лягался, бзырял, она, прельстая жестокой забавой, только и делала, что метала на него обещающие взгляды, манила улыбками. Но когда приходилось исполнять обещанья свои и когда уже дуралей, бахвал, собирался взбежать на вал, она смеялась ему в лицо, и он уходил с носом. Я, разумеется, смеялся тоже; и Пинок, негодуя, обрушивался на меня; он подозревал, что я исподтишка украл красавицу. Дошло до того, что однажды он без обиняков потребовал, чтобы я уступил ему место. Я кротко сказал:

– Брат, только что я хотел тебя попросить о том же.

– Ну что ж, брат, – сказал он, – придется подраться.

– Я об этом думал, – ответил я, – но верь, Пинок, тяжело мне это.

– Не легче и мне, друг Персик. Ступай же, прошу тебя: довольно одного петуха в курятнике.

– Справедливо, – согласился я. – Ну вот и уходи: ведь курочка-то моя.

– Твоя? Врешь ты все, мужик, трухомет, гнилоед! Она моя, я держу ее, и никто другой ее не слопает.

– Мой бедный друг, говорю, ты разве себя самого не видел? Рожа ты глупая, неотесанная, тебе бы редьку жрать; а пирожок этот редкий мне принадлежит; он мне нравится, он как раз мне по вкусу. Не поделюсь я с тобой. Ступай брюкву выкапывать.

За угрозой угроза – глядь, и недалеко до побоев. Все же жаль нам было, очень уж друг друга любили мы.

– Послушай, – сказал он, – оставь ее мне, Персик, ведь полюбился-то ей не ты, а я.

– Рассказывай... я, а не ты.

– Хорошо, порасспросим ее. Лишний удалится.

– По рукам! Пусть выбирает.

Да, но вот поди же обратись с таким вопросом к женщине. Слишком приятно ей длить ожиданье, позволяющее ей мысленно брать любого, и не брать ни того ни другого, и вертеть, вертеть на огне вздыхателей... Невозможно поймать ее!

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Когда мы ее спросили, Ласка отвечала нам взрывом хохота. Воротились мы в мастерскую, скинули куртки.

– Ничего не поделаешь. Один из нас должен околеть.

Перед тем чтоб схватиться, Пинок мне сказал:

– Чмокнемся.

Мы поцеловались дважды.

– Теперь – начнем!

Дело закипело. Мы не скупилась: крупная была ставка. Пинок, бухая кулаком, норовил надвинуть мне череп на глаза; а я коленком въезжал ему в брюхо. Никто, как друзья, не умеет так хорошо враждовать. Через несколько мгновений мы уже были в крови; и рудые ручьи, что бургонское, из носу били... Я уж не знаю, чем бы все это кончилось; верно, один у другого так-таки отнял бы шкуру, если бы, к счастью, соседи столпившиеся и мастер Ландеха, который домой возвращался, нас не разняли. Нелегко это было: освирепели мы, словно цепные псы; пришлось нас бить, чтобы заставить друг друга выпустить. Ландеха взял кнут кучерской: высек он нас, отхлестал, потом разговаривать стал. После крепкой драки чувствуешь себя мудрецом; гораздо легче рассудка слушаться. Не особенно гордо мы друг на друга глядели. И тут подоспел третий плут.

Иван Блябла был жирный мельник, бритый и рыжий. Щеки его были так вздуты, а глаза – так малы, что казалось, он вечно дует в рожок.

– Хороши петушки! – сказал он, осклабясь. – Чего вы добьетесь, когда ради курицы этой вы друг у дружки отхватите гребешечки да почки? Ни шиша! Как она хороша, как она хорохорится, пока вы здесь ссоритесь! Еще бы: приятно ведь женщине тащить за собой целое стадо ярких влюбленных... Вот вам добрый совет, ничего за него не возьму: помиритесь да плюньте, сыночки, – она ведь смеется над вами. Спиной повернитесь к ней и ступайте вы оба. Очень ей будет досадно. Хошь не хошь, а придется ей выбрать, и увидим тогда, кого любит она. Ну-ка, рысью, айда! Отрубай, что болит! Смелее! Доверьтесь мне, братцы! Пока пыльные ваши подошвы будут таскаться по дорогам большим – я здесь буду, друзья... Остаюсь, чтобы вам услужить: брат брату должен помочь. Буду следить за красоткой, буду вас извещать о жалобах сердца ее. Как только она решится, я тотчас дам знать счастливицу; другой же пусть удалится. А теперь пойдем пить! Пить да пить – значит жажду и память и пыл утопить.

Мы так их хорошо потопили (мы пили, как губки), что в тот же вечер, выйдя из кабака, мы собрали свои манатки, взяли посохи; и вот потекли мы в путь, в ночь безлунную, ушли мы, дурни, зады торжественные, и умиленно благодарили доброго Бляблу; а он, подлец, как сало сиял, и глазки его под жирными веками хихикали.

На следующий день мы уже меньше гордились собой. Не признавались мы в этом, тонко лукавили. Но каждый тужился, тужился, не в силах уже понять удивительное это средство: бежать, дабы победить.

По мере того как солнце скатывалось с круглого неба, мы все больше и больше чувствовали себя простаками. Завечерело; мы наблюдали друг за другом, небрежно о погоде болтая, и думали про себя: “Как славно говоришь ты, дружиче! И хотелось бы тебе улизнуть незаметно! Не удастся, брат. Я слишком люблю тебя, чтобы оставить тебя одного. Куда бы ни пошел ты (я знаю, надуть ты горазд!), я за тобою последую”.

После многих хитростей лисьих, когда ночью, притворно храпя, мы лежали на соломе, терзаемые страстью и блохами, Пинок вдруг вскочил и воскликнул:

– Двадцать чертей! Я горю, горю, горю! Нет мочи ждать! Иду обратно.

И мой ответ был:

– Идем.

Мы потратили день целый на то, чтобы вернуться восвояси. Солнце садилось. Мы

Перевод- Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
таились, пока совсем не стемнело, в лесу. Не очень-то нам хотелось, чтобы видели наше возвращение: задражили бы нас. И притом льстила нам мысль ненароком явиться к Ласке, найти ее сетующей, одинокой, плачущей, себя укоряющей: "Ах, зачем ты ушел, друг сердечный?" Что грызет она ногти да вздыхает – это конечно, но кто же был милый? Каждый из нас отвечал: "Я".

И вот, бесшумно вдоль сада ее проползая (щекотала нам сердце тревога глухая), под открытым окном ее, влажной луной облитом, мы увидели вдруг, что на яблонной ветке висит... Что?... Как вы думаете?... Яблоко?... Нет – шапка мельника!... Что рассказывать дале? Слишком приятно было бы вам, добрые люди. Ох, я уже вижу, как вы, шутники, зубоскалите!... Горе соседа – ваша забава. Рогачам приятно, когда умножается братия.

Пинок разбежался и подскочил, как олень (у оленя он и украл украшение); ухватился за яблоню, скинув плод, убеленный мукой, перелез через стену, в комнату внедрился, и оттуда тотчас послышались крики, вопли, телячье мычанье да ругань.

– Черт тебя гни, черт тебя май, подлец, скопец, караул, бьют, караул, хорь, холуй, хахаль, холера тебе в кишки, я те всыплю, елки зеленые, зад распорю, на тебе, на тебе, харя хвостатая.

И треск и затрещины. И хлоп! И храп! Трататах! Стекла трах, посуда вдребезги, девка визжит, олухи лаются, стулья валяются, тела катятся, сумятица... Не мудрено, что на эти адские звуки (сзывайте, трубы!) сбежался весь околоток! Я до конца не остался. Довольно с меня было. Ушел я тем же путем, что пришел, смеясь одним глазом и плача другим, повесив уши и нос задрив.

– Однако, Николка, – говорил я себе, – легко ты отделался!

Но в душе Николка жалел, что не попался на удочку. Я старался подшучивать, вспоминал суматоху, передразнивал мельника, девку, осла, выпускал горедушные вздохи...

– Ах, как это забавно! Ах, как сетует сердце мое! Ах, помру, – говорил я, – со смеху...

Нет, с тоски. Еще бы немножко, и по прихоти гадины этой я бы оказался под выюком презренным брака. Ах, если бы случилось так! Пусть изменяла бы она, а все же была бы моей! Сладко быть хоть ослом своей милой. Далила, Далила! Отрада и дыра!...

Две недели подряд я так маячил между желанием смеяться и желанием ныть. Я, кривоносый, в себе совмещал всю древнюю мудрость – Гераклита плаксивого и Демокрита веселого. Но люди безжалостные смеялись надо мной. Были часы, когда при мысли о милой я способен был удавиться. Часы эти длились недолго. К счастью!... Любить – спору нет – прекрасно; но, ей-Богу, друзья мои, не стоит ради любви умирать! Предоставим это рыцарям мечтательным и учтивым. Мы же, бургонцы, не годимся в герои сказочные. Мы живем, живем. Когда нас на свет производили, никто не спросил у нас, никто не осведомлялся – желаем ли жить; но раз я уже попал сюда, остаюсь я здесь, черт возьми. Мир нуждается в нас... А может быть, и наоборот: он нам нужен. Хорош ли он или плох, – а выставишь нас только силой. Коль вино разлито – так пей. Выпью – еще выжму из виноградников сочных!

У нашего брата досуга нет помирать. А страдать и мы умеем, нечего вам этим кичиться. В продолжение нескольких месяцев я, как пес, скулил. Но время – перевозчик, слишком тяжелые горести наши оставляет на том берегу. И ныне сказать я могу:

– Это ведь все равно, как если б имел ты ее...

Ах, Ласка, Ласочка! Нет, на самом-то деле я ее не имел. Он, Блябла, этот требух, пузогной, мешок мучной, рожа тыквенная, подтыкает, ласкает ласицу мою вот уж тридцать лет... Тридцать лет!... Уж теперь он, пожалуй, вдоволь наелся. Впрочем, как мне говорили, пресытился он на второй уже день после свадьбы. Проглоченный кус стал казаться обжоре невкусным. Если б не кавардак ночной, если б кукушка в гнезде не попала (и орал же Пинок!), блюдолиз никогда бы не сунул толстого пальца в колечко узкое... Ах, Гименей, Гименей! Вот и сидит в дураках! Ты тоже,

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Ласка: ибо мельник озлобленный на тебе вымещает досаду. Но как-никак я пострадал больше всех. Что ж, Персик, смейся скорей; смейся (забавно, ей-ей) над собою, над ним и над ней...

И, продолжая смеяться, вдруг я увидел в двадцати шагах от себя, при повороте просади (ужели болтал я два часа сряду, о Господи!), домик знакомый, с красною крышею, с зелеными ставнями, домик молочно-белый; виноградные лозы его наготу прикрывали змеиным извивом своих целомудренных листьев. И перед дверью открытой, под тенью орешника, над колодиной каменной, где шелестела, блестела вода, стояла склоненная женщина; узнал я ее (хоть многие годы были меж нами), узнал я и замер...

Ах, если б мог, убежал. Но меня увидела она, и вот в лицо мне смотрела, продолжая воду черпать. И я заметил, что вдруг и она меня вспомнила... Не подала она виду, слишком много было в ней гордости, но ведро из рук ее вылилось обратно в колодец. И сказала она:

– Бродяга беспечный, куда же ты вдруг поспешил? Постой...

Я же в ответ:

– Разве меня ты ждала?

– Я? Ничуть, очень мне нужен ты!

– Что же, и мне дела нет до тебя, а все-таки как-то приятно...

– Да и ты не мешаешь мне...

Торчали мы друг против друга, руками покачивая; и друг на друга глядели, хоть это нам было нестерпимо тяжело.

В колодце все булькало ведро.

– Входи же, – сказала она, – время-то ведь есть у тебя?

– Две-три минутки найдутся. Я тороплюсь немного.

– Незаметно что-то... Зачем же сюда ты пришел?

– Зачем? Да, так, невзначай... – твердо ответил я, – прогуливаюсь.

– Разбогател, знать?

– Я богат – да не золотом, а мечтами.

– Перемены нет, – сказала она, – все тот же ты сумасброд.

– Кто родился безумным, безумцем помрет.

Вошли мы во двор. Она прикрыла дверь. Мы стояли одни среди кудахтавших кур. Все работники были в поле. Не то стараясь смущенье скрыть, не то привычке следуя, она нашла нужным затворить или отпереть (я уж точно не помню) дверь чердака и побранить пса. И я, чтобы развязным казаться, стал говорить о хозяйстве, о курах, о голубях, о петухе, о собаке, о кошке, об утках, о свинье. Перечислил бы я весь Ноев Ковчег! Но она вдруг прервала:

– Персик!

У меня захватило дыхание.

Она повторила:

– Персик!

И мы друг на друга взглянули.

– Поцелуй меня, Персик...

Я просить себя не заставил. Когда стар уже, это вреда не приносит; хоть нет и отрады большой (нет, отрадно всегда). Глаза зачесались, когда я почувствовал у себя на щеке, на старой жесткой щеке, ее старую сморщенную щеку. Но я не заплакал, – вот еще глупости!... Она мне сказала:

– Ты колешься.

– Что же делать, – я отвечал, – если бы мне утром сказали, что я поцелую тебя, я бы побрился. Борода моя мягче была – тридцать пять лет тому назад, когда мне хотелось (а ты не хотела), когда мне хотелось, пастушка моя (ах, тронь, тронь, тронь, девочка, огонь...), ее потереть о твою ладонь.

– Ты еще думаешь, видно, об этом? Да?

– Нет, нет, никогда...

Мы взоры скрестили, смеясь, – посмотрим, кто первый опустит глаза!

– Гордец, строптивец, упрямая башка! Как ты был на меня похож, – сказала она. – Но ты, серко, все не хочешь состариться. Что таить, друг мой Персик, не стал ты казистой, у тебя под глазами мешочки, нос твой раздулся. Но ты ведь всю жизнь был лицом непригож, нечего было терять тебе, ничего ты и не потерял. Ни одного даже волоса, жмотик ты этакий! Разве только щетина твоя посерела местами.

Я сказал:

– Голова шальная, ты знаешь, никогда не белеет.

– Эх, подлецы мужчины, вам все нипочем, вы прохлаждаетесь. Но мы стареем, мы стареем за вас. Ведь я развалина! Увы, то тело, что было так крепко и нежно на вид, – и еще нежнее на ощупь, те бедра, и грудь, и румянец, красота моя сочная, что нетронутый плод... где это все и где я сама, где потерялась? Разве в толпе ты узнал бы меня?

– Я, не глядя, узнал бы, среди всех.

– Да, не глядя, а если б глядел? Посмотри – щеки впали и выпали зубы, нос заострен, удлинен, глаза покраснели, шея поблекла, груди обрюзгли, живот изуродован...

Я сказал (хоть все это давно я приметил):

– Белая ярочка никогда не старится.

– Да разве не видишь?

– У меня глаза зоркие, Ласка.

– Ах, куда ж завернула ласочка, ласка твоя?

Я ответил:

– “Вот он юркнул, зверек, в веселый лесок”. Он притулился, он скрылся – в самую глубь. Но я все вижу его, вижу тонкую мордочку, хитрые глазки, что следят за мной и манят в норку.

– Небось, ты в нее не войдешь, – сказала она. – Лис, разжирел ты на диво! Что-что – а любовное горе тебя похудеть не заставило.

– Горе нужно питать, – ответил я.

– Так пойдем же, покормим детище.

Мы вошли в дом и сели за стол. Хорошенько не помню, что ел и что пил, – было сердце иным занято, но, как-никак, я не зевал. Облокотившись на стол, она наблюдала за мной; потом спросила, труня:

Перевод- Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Ну что ж, поубавилось горя?

– Песенка есть, – сказал я. – В теле пусто – душа тоскует; насмаковался – душа ликует.

Молчали ее тонкие и насмешливые губы, а я хлыщом таким представлялся, городил ералаш, но глаза наши встречались, полные прошлого.

– Персик! – вдруг сказала она. – Знаешь что? Никогда не говорила, а теперь скажу, раз это больше ничего не значит: ведь любила-то я – тебя.

– Знал, – ответил я, – всегда знал.

– Знал, негодяй? Что же ты не сказался?

– Из любви к спору перечила бы ты мне, отрицала.

– А тебе-то что? Ведь думала я иначе. Целовал бы ты губы мои, а не слушал, что говорят они.

– В том-то и суть, что твои-то губы не только слова говорили. Мне это узнать довелось, когда я, в ночи, Бляблү нашел у тебя на печи.

– Твоя вина, – отвечала она, – печь топилась не для него. Конечно, и я была виновата; но зато понесла наказание. Ты, всезнайка, однако, не знаешь, что мельника я оттого выбрала, что бегство твое разозлило меня. Ах, как сердилась я! Сердилась с тех пор, как (помнишь?) ты мной пренебрег.

– я пренебрег?

– Да, повеса. Вошел ты в мой сад, чтоб плод сорвать, пока я дремала, а потом с презрением оставил его на сучке.

Заволновался я, стал объяснять. Она перебила:

– Поняла, поняла. Не старайся так! Глупая тварь! Я уверена, что если бы сызнава...

– Было бы то же, – сказал я.

– Дурень! Потому-то тебя и любила я. В наказанье решила я мучить тебя. Я не думала, что ты (о глупость, о трусость) удерешь от крючка, вместо того чтобы его проглотить.

– Благодарю! – сказал я. – Рыбка любит приманку, да жаль живота.

Тогда, улыбаясь хитро, не мигая:

– Когда мне сказали, что вы деретесь и что он, эта скотина – как бишь его? – тебе голову отгрызает (я в это время белье полоскала на речке), из рук моих выскочил и поплыл по теченью валец (с Богом, челнок!), и, путаясь в мокром тряпье, расталкивая кумушек, я побежала, босая, понеслась, задыхаясь, и чуть не кричала тебе: “Персик, да что ты, с ума сошел? Я ведь люблю тебя! Что же будет, когда этот волк отхватит лучшую, может быть, часть твою? Не хочу я мужа такого – изрубленного, вывороченного. Хочу целого...” Ай, люли, люлюши-люли, ведь пока хлопотала я так, уж голубчик мой канул в кабак, как ни в чем не бывало, а потом позорно, позорно бежал от овечки под ручки с волком!... Я тебя проклинала, Николка! Когда, старик, я вижу тебя, когда ныне вижу тебя и себя, мне все это кажется очень смешным. Но тогда, дружок, я б охотно тебя общипала, живым бы зажарила; вместо тебя я себя, злясь и любя, наказала. Подвернулся тут мельник. И, в сердцах, я взяла его. Не тот осел, так другой. Не пустовала б обитель. Ах, что за месть! О тебе я все думала, в то время как он...

– Да, я слушаю!

– ...в то время как он мстил за меня. Я думала: “Пусть вернется теперь. Трещит ли башка у тебя? Персик, доволен ли ты? Пусть возвращается, пусть!...” Увы, ты слишком скоро вернулся... Остальное известно тебе. С дурнем этим я на всю жизнь была связана. И осел (кто, он или я?) остался на мельнице.

Смолкла она. Я спросил:

– Ну что ж, хорошо ль там живется тебе?

Она плечом повела:

– Не хуже, чем всякому.

– Черт возьми! – я воскликнул. – Тогда этот дом суший рай!

Она рассмеялась:

– Ты прав, гультай.

Говорили потом о другом, о посевах, о людях, о семье, о скоте. Но, как ни старались, все к одному возвращались. Я думал было, что ей хотелось узнать мелочи жизни моей, домашние дразги, но вскоре я понял (о любопытство женское!), что она на этот счет знала почти столько же, сколько и я. Так, помаленьку, болтали мы о том и о сем, вправо и влево, в гору и под гору, бесцельно, беспечно, лишь ради каляканья. Потом перешли на галушки шипучие, сальные: перебивали друг друга, сломя шею спешили. И нужды не было напирать на слова; не успевали они из печи выскочить, как уже были проглочены.

Насмеявшись вдоволь, я вытирал глаза, как услышал, что на колокольне бьет шесть.

– Однако, – сказал я, – мне пора.

– Посиди еще, Персик, время есть.

– Нет, того и гляди, муж твой вернется. Видеть его не хочу.

– А я-то! – подхватила она.

Из окошка видать было поле. Оно уже на ночь рядилось: пальцы вечернего солнца золотую пылью осыпали дрожащие шейки былинок бесчисленных. По гладким галькам прыгал ручей. Корова лизала ветловую ветку. Неподвижно две лошаденки мечтали в лучистой тиши: одна – вороная со звездой на лбу положила голову на спину к другой – серой в яблоках. Вливался в прохладный дом запах золотого навоза, солнца, сирени, травы неостывшей. И в сумерках комнаты, глубоких, сочных, слегка отдающих прелью, поднимался из каменной чаши, зажатой в руках моих, аромат задушевный бургонской наливки смородовой. И воскликнул я:

– Как хорошо тут!

Она мою руку схватила:

– И могло бы так быть всякий день.

Но я отвечал (не затем я пришел, чтоб ее заставлять сожалеть):

– А знаешь, Ласка, в конце-то концов, лучше, пожалуй, что путь наш таков! Хорошо это на день. Но на всю жизнь... нет, и тебя и себя я знаю, тебе надоело бы скоро. Ты не можешь представить себе, каким я бываю несносным – негодяем, бездельником, бражником, болтуном, сумасбродом, упрямым, обжорой, хитрюгой, звездоглядом, брюзгой, бредой, пустомелей. Ты жила бы в вечном аду и мстила бы мне. Как об этом подумаю только, волосы дыбом встают у меня – с обеих сторон лба. Благо Господь все предвидел! Что случилось, – и ладно.

Лукавый и вдумчивый взгляд ее слушал. Она головой покачала:

– Твоя правда, Емеля. Я знаю, я знаю, ты плут в самом деле. (Она так не думала.) Да, конечно, ты бил бы меня и носил бы рога. Но что же поделаешь, раз все равно через это нужно пройти (так написано на небеси), не лучше ль пройти вместе?

– Конечно, – сказал я, – конечно...

– Ты не уверен как будто.

– Видишь ли, кажется мне, что без этого счастья двойного нужно уметь обойтись.

И, встав, в заключение сказал я:

– Прочь сожаленье, Ласка! Так ли иль этак, а ныне все было бы то же. Можно друг друга любить и обманывать можно, но когда, как теперь, книга дней уж дописана, – что было, то сгинуло, да и было ли?

Она мне ответила:

– Лжешь!

(И как верно сказала она!)

* * *

Поцеловал я ее, да и ушел. Она глазами меня провожала с порога, прислонившись к дверному косяку. Между нами тянулась тень высокого орешника. Я больше не оглядывался до тех пор, пока не свернула дорога, и тогда я уж знал, что ничего не увижу. Остановился я, передохнул. Воздух был полон благоуханья висячих глициний. Издали, с полей, доносилось мычанье белых волов.

Я продолжал, свой путь; и, сокращая его, покинул тропину, по скату полез, сквозь виноградник пробрался и вышел на лес. Я, однако, все это проделал не для того, чтоб скорее вернуться. Нет, – с получасу прошло, а я все стоял на опушке, под ветками дуба, – стоял неподвижно, считая ворон. Я был потрясен. Я грезил, я грезил. Небо румяное гасло. Отливы его умирали на лозах веселого бога, на маленьких новеньких листьях, блестящих, лощеных, виноцветных, позолоченных. Пел соловей. Со дна моей памяти, в сердце моем опечаленном, другой соловей отвечал. Вечер такой же, как этот. Я с подругой был. Мы бродили по склону среди лоз виноградных. Мы юны и радостны были, любили болтать, хохотать.

Внезапно над нами странное что-то скользнуло, дуновенье вечернего звона, дыханье земли, что струится с последним лучом и трепещет и шепчет: “Приди”, печаль золотая, что с неба луна навевает... Приумолкли мы оба и вдруг взялись за руки – и так – бессловесно, друг на друга не глядя, стояли, застыв на месте. Тогда-то взвился с виноградного склона, к которому вешняя ночь прикоснулась, напев соловья. Боясь задремать среди лоз, чьи коварные нити росли, все росли, все росли, да лапки его опутать могли, – боясь задремать, безумолчно взметал соловей – чародей – вековую песню свою.

Лоза, лезь ввысь, ввысь, ввысь.

Не сплю я, – все пою.

И я почувствовал, что рука Ласочки мне говорит: “Я поймала тебя, и я поймана. Лоза, тянись, тянись и свяжи нас!”

Мы спустились с холма. Приблизившись к дому, разлучили мы руки. С тех пор никогда уже больше их не сплетали. Ах, соловей, запеваешь ты вновь. Для кого же поешь? Лоза, ты растешь. Для кого твои вязи, любовь?...

И разостлалась ночь. И, к небу подняв нос, опираясь на руки задом, а руками об палку, я стоял, как дятел на хвосте своем, и все глядел в лиственную высь, где зацветала луна. Я старался расторгнуть чары, сковавшие меня. Но тщетно. Верно, дуб околдовал душу своею тенью волшебной, заставляющей терять и дорогу, и желание ее найти. Дважды, трижды я обошел дерево, – всякий раз я возвращался к тому же месту, скованный.

Тогда решился я; на траве растянулся, да и проночевал так, в гостях у луны. Но не много я спал. Я с тихой тоской обдумывал длительно жизнь свою. Я думал о том, чем могла она быть, чем была, я думал о грезах своих распыленных. Господи, сколько грусти находишь в долинах былого, в эти ночные часы, когда душа обескрылена! Каким себе кажешься слабым и сирым, когда пред глазами обманутой старости всплывает юности образ, расщеченный надеждой!... Я пересчитывал снова приход и расход и мои богатства скудные: дурная жена, дурная лицом, сыновья,

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru живущие далече и во всем со мною несходные, – даром что плоть-то одна; измены друзей и людское безумье; кровавые веры и межусобные войны; раны отчизны; души моей вымыслы, создания рук моих разворованные; жизнь моя – горсточка пепла, – и ветер смерти недалней... И, плача тихонько, губами прильнув к телу дерева, я поверил ему свои горести, прикурнув меж корней, как в объятых отца. И я знаю – оно меня слушало. И, верно, потом в свой черед и оно зашептало, меня утешало. Ибо когда через час или два я проснулся (храпел я ничком на земле), от тоски моей горькой уже ничего не осталось – разве что смутное чувство ломоты в душе и такое же чувство в суставах.

Солнце очнулось. Дерево, полное птиц, распевало. Прыскали песни, как сок, когда жмешь виноградную гроздь. Павлик-зяблик, да Манька-зарянка, да серая, болтливая Маленочка-Малиновка и дрозд, куманек, который всего мне милей, оттого что ему нипочем и холод, и ветер, и дождь, и всегда он доволен, раньше всех запекает, позже всех умолкает, да и носик его так же ярко раскрашен, как мой. Ах, как усердно пищат они, пташки-парняшки! От ужасов ночи они вот спаслись. Ночь, неверная ночь всякий раз над ними, как сеть, опускается. Мороки душные... кто доживет до утра?... Но, вири-вири-ра... как только завес ночной разрывается, как только улыбка бледная дальней зари оживлять начинает оледенелый лик и уста побелевшие жизни... ой-ти, ой-ти, ля-ля-и, ля-ля-ля, удрала... каким криком, мой свет, каким взрывом любви они славят рассвет! Все, что мучило, все, что страшило, немое безумие, сон ледяной, сумрак, все-все, ой-ти, все позабыто. День, новый день! Посвяти меня, дрозд, в свою тайну, как с каждой зарей душой воскресать, веря в нее неизменно!... Дрозд продолжал посвистывать. Насмешка его молодецкая меня освежила. На землю присев, я вторил ему. Кукушка в лесной глубине играла в прятки... “ку-ку, ку-ку, черт сидит в уголку!” Раньше чем встать, я кувыркнулся. Пробегавший зайчик передразнил меня. Он смеялся; губа расклась у него – так он смеялся. Я пустился в путь и пел во все горло:

– Все хорошо, друзья! Кругла земля. Все хорошо. Не умеешь плавать – идешь на дно. Распахнул я окна, распахнул я двери, я вижу, я верю, входи. Божий мир, вливайся ты в кровь мою! Стану ли я обижаться на жизнь, как дурак, за то, что не все получил от судьбы? Как начнем желать: “Ах, если бы да кабы...”, остановиться уже невозможно. Всякий бывает в надеждах обманут, всякий мечтает о том, чего нет у него. Даже герцог Неверский. Даже Король. Даже сам Господь Бог. Всему есть границы, у каждого свой уголок. Стану ль беситься, стонать оттого, что мне выйти нельзя из него? Лучше ль мне будет в пределе ином? Это мой дом, и я здесь остаюсь, и останусь как можно подольше. И на что же мне сетовать? Мне, в конце-то концов, ничего не должны. Я бы мог не родиться. Как подумаю, Боже, мурашки ползут по коже. Этот славный маленький мир, эта жизнь без Персика! И Персик без жизни! Ах, друзья, как было бы здесь безотрадно! Что есть, то и ладно.

С опозданием на день я вернулся домой. Сами судите, какая мне встреча была уготована. Все равно, – не впервой. Я спокойно полез на чердак и, как видите, все записал, трясая головой, бормоча сам с собой, высунув косо язык, записал печали свои да утехи, утехи печалей моих...

О тяжело пережитом

поведать сладостно потом.

ПТИЦЫ ПЕРЕЛЕТНЫЕ

Июнь

Вчера утром мы узнали о проезде через Клямси двух именитых гостей – графа Мальбоя с невестой. Они не останавливались, а продолжали путь свой к замку Ануанскому, где должны были провести три или четыре недели. Совет старшин положил послать на следующий день отрядных, чтоб от имени общины поздравить этих важных птиц со счастливым прибытием (будто чудо какое, когда одна из этих скотин в своем бархатном рыдване, в тепле, из Парижа в Невер прикатит, не сбившись с пути и костей не сломав!). Продолжая следовать обычаю, совет порешил прибавить к приветствию несколько соблазнительных гостинцев, крупных засахаренных печений – гордость нашего города (мой зять пекарь флоридор изготовил три дюжины! Старшины полагали, что будет достаточно двух; но наш флоридор любит широкий размах: платит-то город).

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Наконец, дабы очаровать сразу все телесные чувства, руководствуясь мыслью, что лучше кушается под музыку (хотя я лично глух, когда ем и пью), снарядили четырех отборных звукохватов – две виолы, два гобоя да бубен – послали их ко дворцу исполнить на своих брякушках приветственную песнь, в виде вступления.

И я со своею свирелью втесался без приглашения в шествие это. Не мог упустить я случая увидеть новые лица, особенно когда дело касалось таких птиц (не дворовых конечно – дворцовых). Люблю оперение их нежное, их болтовню и движения, когда они перья приглаживают или идут переваливаясь, задом виляя, нос задирая, и лапками, крыльями дуги описывают. Впрочем, при дворе ли живут они или на заднем дворе, мне все равно, лишь бы мне подавали новизну, – вот тогда хорошо. Сын я Пандоры, поднимать люблю крышки всяких коробок, всяких душ человеческих, белых, загаженных, жирных или тощих, благородных или низких; люблю я копаться в сердцах, узнавать, что в них происходит, справляться о том, что меня касается, всюду соваться, обнюхивать, всасывать, пробовать. Из любопытства я бы на пытку пошел. Но я никогда не забуду – уж будьте спокойны – совместить с приятным полезное. У меня в мастерской был как раз выполнен графский заказ – пара стальных, резьбою покрытых щитов, и – благо провоз был бесплатен – они поехали на той же тележке вместе с послами, виолами и пирогами. Мы прихватили также Глашу, дочь Флоридора. Прокатиться даром всегда приятно; другой старшина взял с собою сына. Аптекарь же нагрузил на повозку бутылки сиропов разных да медов, банки варенья – все его собственные произведения, которые он намеревался поставить на счет города. Отмечу, что зять мой осудил этот прием, говоря, что нет такого обычая и что если каждый мастер, сапожник, мясник, цирюльник, булочник так поступал бы, город пропал бы, вконец разорившись. Он, пожалуй, не так ошибался; но тот, как и он, – старшиной был: ничего не поделаешь тут. Малые мира сего подвластны законам; остальные же их издают. Городской голова, щиты, гостинцы, ребяташки, четверо музыкантов да четверо старшин – все они уехали на тележках двух. Я же пошел пешком. Пусть немощных возят – тух-тух, – как на бойню телят или на рынок старух! По правде сказать, погода была неважная. Тяжкое, предгрозовое, мучнисто-белое небо; око жгучее, круглое феба нас в затылок колото. Пыль да слепни поднимались с дороги. Но кроме Флоридора, который боится загара не меньше, чем барышня, мы все были довольны: деленная неприятность – развлеченье.

Пока не исчезла вдаль башня святого Мартына, щеголи наши имели вид сосредоточенный. Но как только мы оказались вне наблюдения города, все лица прояснились, и умы, как и я, скинули куртки. Сперва в виде закуски перекинулись словечками острыми. Потом один песенку затянул, другой подхватил. Мне кажется, прости Господи, что сам голова был запевалой. Я заиграл на свирели. Все остальные запели. И, пробивая хор голосов и гобоев, тоненький голос Глаши моей поднимался, порхал и чирикал, как воробей.

Мы не очень спешили. По воле своей ослы на подъемах останавливались, отдувались, стреляли, задрав хвост. Мы дожидались, пока музыка их не иссякнет, и ехали дальше. В одном месте дороги наш маклер, Петр Деловой, заставил нас проделать крюк (мы ему отказать не могли: он один еще не просил ничего). Хотелось ему заехать к одному клиенту составить черновик завещания. Все мы одобрили его; но немножко было долго; и Флоридор, соглашаясь в этом с аптекарем, снова нашел предлог для укоров. Но Деловой дело свое докончил без спеха. И волей-неволей примирился аптекарь.

Наконец мы прибыли (этим всегда кончается). Птицы наши вставали из-за стола, когда появилось пирожное, принесенное нами. Пришлось им снова засесть. Птицы всегда могут есть. Господа отрядные, подъезжая к замку, не преминули еще разок привалить, дабы нарядиться в одежды праздничные, бережно сложенные, тайком от солнца, – в красивые, световые одежды, греющие глаз, ласкающие сердце, из зеленого шелка для городского старшины, из светло-желтой шерсти для его сподручников: скажешь, огурчик и четверо тыковок. Мы вошли с музыкой. На шум высунулись из окон холопы праздные. Шерстяные и шелковый взошли на крыльцо, у двери которого соблаговолили показаться (я различал плохо) на кружевных брыжах две головы завитые, лентами перевитые, словно барашки. Мы же, трын-трава, трынкали посередине двора. Потому я и не слышал чудной латинской речи, произнесенной нотариусом. Но я утешился: лишь один Деловой слушал ее. Зато я любовался крошечной Глашей моей, которая поднималась шажками мелкими по ступеням лестницы, точно Дева Мария, во храм вводимая, и прижимала к груди, обеими лапками, корзину печений, башнею вздымающихся до самого носа ее. Она не сронила ни одного: она их глазами, руками лелеяла, – озорница, сластущечка, душечка...

Перевод- Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Господи!... я так и съел бы ее...

Очарование младенчества словно музыка; она проникает в сердца вернее, чем та, с которой пришли мы. Самые черствые сразу смягчаются, становишься ребенком, на миг забываешь гордыню и сан. Невеста графская внучке моей улыбнулась ласково, поцеловала ее, на колени себе посадила, взяла ее за подбородочек и, разломив посередочке сладкий сухарь, сказала: “На, поделимся, клювик разинь” – и сунула больший кусок в крошечный круглый роток. Тогда во весь голос я радостно крикнул: “Да здравствует ясная, добрая, родины нашей цветок!” И выдул из дудки веселую погудку, и звук пронесся резвый, как с криком острым ласточка.

Все кругом рассмеялись, ко мне обернувшись; и Глаша в ладоши захлопала:

– Дедушка, дедушка!

А граф Ануанский сказал:

– Это Персик – безумец.

(Нашелся судья! Он такой же безумец, как я.) Подозвал он меня. Я подхожу со свирелью своей, по ступеням всхожу бойким шагом, кланяюсь.

(Шапка в руке, речь учтива, труд не велик, а ладно на диво.)

...кланяюсь направо, налево, кланяюсь вперед, назад, кланяюсь каждому, каждой. А меж тем скромным взглядом я наблюдаю и стараюсь кругом обойти барышню, висящую в облаке обширных фижм, будто язык в колоколе; и, раздевая ее (мысленно, конечно), я смеюсь, видя ее потерянной, худенькой, голенькой под своими уборами. Она была стройная и узкая, смугловатая, но убеленная пудрой; прекрасные карие глаза блестели, как камни самоцветные, нос был как рыльце поросеночка, юркого и жадного, пухло краснели поцелуйные губы, и на щеки спадали завиточки. Заметив меня, она спросила с видом снисходительным:

– Это славное дитя – ваше?

Я отвечаю тонко:

– Как знать, сударушка! Вот зятек мой. Он отвечает за это, не я. Во всяком случае, это наше добро. Никто его от нас не требует назад. Не то что деньги... “Дети – богатство бедных”.

Она удостоила меня улыбкой, а граф Ануанский шумно расхохотался. Флоридор смеялся тоже; но смех его был кислотоват. Я остался бесстрастным – простаком я прикидывался. Тогда мужчина в брыжжах и дама в фижмах соблаговолили расспросить меня (они меня оба приняли за бродячего музыканта), много ли дохода приносит мое ремесло. Я ответил как и полагалось:

– Да никакого.

Не сказал, впрочем, чем действительно я занимаюсь. Зачем говорить? Они меня об этом не спрашивали. Я ждал, я хотел видеть, я развлекался. Меня забавляла та надменность привычная и условная, с которой все эти пышные господа считают нужным обращаться с теми, у кого нет ничего. Всегда кажется, что они им дают урок. Бедняк – дитя малое, он умом недалек. И к тому же (не говорят так, но думают) он сам виноват: Бог его наказал – отлично; Господи, слава тебе!

Как будто и не было меня. Мальбой громко говорил своей невесте:

– Нам все равно нечего делать, воспользуемся же этим гольшом; вид у него юродивый! Он бродит там и сям, на свирели играя; он должен знать хорошо населенье кабаков. Порасспросим его о том, что здешний народ думает, если...

– Ш-ш!...

– ...если вообще он думает.

Тут-то меня и спросили:

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Скажи-ка, старик, каково настроенье в стране?

Я повторяю с видом совершенного одуренья:

– Строекья?

И подмигиваю толстому графу Ануанскому, который поглаживал бородку и давал мне полную волю, посмеиваясь за широкой лапой своей.

– Ум не очень-то, кажется, в ходу в здешней стороне, – сказал тот насмешливо. – Я спрашиваю тебя, старик, что думают здесь, во что верят? Слушаются ли Церкви? Покорны ли королю?

Я говорю:

– Бог велик, и король очень велик. Их обоих любят.

– А о принцах что думают?

– Они тоже – важные господа.

– Так, значит, стоят за них?

– Да, ваша светлость, да.

– И против Кончини?

– И за него стоят тоже.

– Но как же, помилуй! Они ведь враги!

– Да, я что же... возможно... Стоят за обоих.

– Нужно выбрать, черт подери!

– Нужно ли, сударь мой? Неужто нельзя обойтись? За кого я стою? Я вам это скажу на одной из семи моих пятниц. Пойду я подумаю. Но нужен мне срок.

– Чего же ты ждешь?

– Да хочу я узнать, кто сильнее окажется.

– Мерзавец, – и не стыдно тебе? Ужели не можешь ты отличить солнца от облаков и короля от его врагов?

– Что ж, сударь мой, я уж таков... Слишком вы многого требуете. Я не слепой, вижу я небо-то. Но если уже выбирать между людьми короля и людьми голдовных вельмож, оно, право, трудненько сказать, кто из них лучше пьет и больше убытка приносит. Я не виню их; ешь на здоровье. Вам желаю того же: люблю едоков хороших; я на их месте так же бы делал, но (зачем утаю?) друзей моих больше люблю.

– Ты, значит, не любишь, болван, ничего?

– Сударь, я люблю свое добро.

– Но ты разве его не отдашь своему господину, своему королю?

– Что ж, я готов, если так уже надо. Но все же хотел бы я знать, что попадало бы в рот королю, если бы не было в нашем краю несколько мирных людей, любящих лозы свои и луга. У всякого в мире свое ремесло. Одни нажираются. А другие... другие, увы, пожираются. Политика – это искусство есть. Мы, бедняки, что могли бы мы делать? Вам – управленье, а нам – земля! Нам не годится иметь свое мнение. Мы ведь невежды. Что же, мы знаем одно только разве, что знал Адам, наш отец. (Он был и ваш, говорят; я-то не верю, простите, может быть, был он вам дядя.) Что ж мы умеем? Лишь только землю свою удобрять, чтоб была бы она плодородна, разрывать, бороздить ее тело, сеять, овес и пшеницу растить, прививать да подрезывать лозы, косить, колосья жать, веять зерно, гроздь попирать, давить вино, хлеб испекать, раскалывать дерево, камень гранить, сукно кроить, кожу

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru шивать, железо ковать, ваять, столярить, проводить дороги и воду, строить, вздымать города и соборы, с любовью увенчивать землю убранством садов, расплетать на стенах, на их латах дубовых волшебство световое; из камня, как из тугого чехла, извлекать обнаженного белого бога; ловить на лету среди лазури скользящие звуки, заключая их в грудь золотисто-коричневой стонущей скрипки или в полую эту свирель; владеть, наконец, всей французской землей, ветрами, огнем да водой и заставлять их служить вам в забаву... Что же еще мы умеем и смеем ли думать, что можем судить о делах управленья, о ссорах вельмож, о затеях святых короля и о подобных тому чудесах? Сказано, сударь: не плюй выше носа. Мы животные вьючные, созданы мы для побоев... Согласен. Но чей кулак нам по вкусу, чья дубина приятнее тычет нас в спину... важный вопрос это, сударь, он для меня слишком труден. По правде сказать, – кулак ли, иль палка – мне наплевать; чтоб ответить вам точно, пришлось бы дубину в руке подержать, взвесить, сравнить. А нельзя – так терпенье! Страдай, страдай, наковальня. Страдай, пока ты наковальня. Ударь, когда молотом станешь...

Тот в нерешимости глядел на меня, сморщив нос, и не знал, смеяться ли ему или сердиться. Но тут один щитоносец, который видал меня некогда у покойного нашего герцога, сказал:

– Ваша светлость, я знаю его, чудака: он хороший работник, искусный столяр и большой говорун. По ремеслу он – ваятель.

Но граф, по-видимому, не изменил своего мненья насчет Персика, не выказал никакого любопытства по отношению к его маленькой личности (это из скромности сказано, дети мои, на самом-то деле вешу я около берковца), пока щитоносец покойного герцога и граф Ануанский ему не поведали, что такой-то и такой-то вельможа дорожит моими твореньями. После чего он не меньше других восхищался фонтаном, который ему во дворе показали. На нем изваял я девицу босую, в переднике несущую двух уток бьющихся, клюв разинувших, крылом трепещущих. Потом он смотрел во дворце утварь работы моей. Граф Ануанский блаженствовал. Скотины богатые! Будто создали сами они то, за что заплатили! Мальбой, чтоб польстить мне, нужным нашел подивиться, что я остаюсь в своем уголке, прозябаю вдали от великих парижских светил и застываю на этих работах. В них, говорит, есть терпенье и правда, но нового нет ничего, есть прилежанье, но нет вдохновенья, есть наблюденье, но нет мыслей высоких, образов, иносказаний, нет баснословия, нет любомудрия, нет, одним словом, всего, что судьё-знатока бы заставило это творенье великим считать. (Великие мира сего лишь в великом находят приятность.)

Я скромно ответил (смирен я, придурковат), что знаю, как мало я стою, что всякий в границах своих оставаться должен. Бедные люди, как я, ничего не видали, ничего не слышали, ничего и не знают; а потому проживаешь на ярусе нижнем Парнаса, где избегаются высокие, горние замыслы; и, боязливый взор отводя от вершины, над которой рисуются крылья коня священного, роешь да камни ломаешь внизу у подножья горы, чтоб из них можно было жилище построить себе. Бедностью ум наш придавлен, ничего он не может, ничего он не смыслит, кроме забот обиходных. Искусство полезное – вот наш удел.

– Искусство полезное? Эти два слова не вяжутся, – воскликнул мой дурень. – Прекрасно – только ненужное.

Я в ответ:

– Великая мысль! Как это верно! Так везде и в искусстве и в жизни. Нет ничего ведь прекрасней алмаза, вельможи иль розы.

Он отошел, очень мною довольный. Граф Ануанский меня за руку взял и шепнул:

– Проклятый шутник! Перестанешь ли ты издеваться? Да, валяй дурака, я ведь знаю тебя. Не отрицай. Забавляйся этой парижской розой сколько угодно, дружок! Но если ты, дерзкий, когда-нибудь вздумаешь и на меня так напасть, держись тогда, Персик! Поколочу тебя всласть.

Я отпирался:

– Как, ваша светлость, на вас нападать!... На моего благодетеля-то, защитника! Ну можно ли Персика этак чернить? Пусть еще буду я черным, но не дай БОГ быть глупым. Предоставляю другим. Мы этим, ей-ей, не грешим. Слишком я шкурой своей

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru дорожу, чтобы не уважать шукуру того, кто может заставить себя уважать. Я не трону ее, не такой я дурак. Ведь вы же не только сильнее меня (это само собой), но гораздо хитрее. Куда мне! Пред вами, Улисс, я только лисенок. Сколько проказ в мешке у вас! Сколько юных и старых, осторожных и шалых попали в него!

Лицо его расплылось. Нам всего приятнее, когда хвалят в нас ту способность, которой в нас нет.

– Ладно, – сказал он, – ладно, болтун. Оставим мешок мой в покое; посмотрим-ка лучше, что скрыто в твоём. Мне сдается, что раз уж пришел ты, так, верно, не даром.

– Чудеса! Вы опять угадали! Все прозрачны для вас. Вы читаете в книге сердец, словно как БОГ-отец.

Развернул я щиты свои, а также итальянское произведение (Фортуна на колесе, купленная когда-то в Мантуе), которое, сам того не заметя, выдал я, ветреник старый, за свое. Похвалили их умеренно. Потом (ах, смущенье, смешенье) я показал им собственное творенье (головку девушки – стенное украшение), которое выдал я за итальянское. Крики, выкрики, охи да ахи. Все опьянели от восхищенья. Мальбой, который так и сиял, говорил, что в нем виден ответ латинского солнца, земли, дважды благословенной богами, Христом и Юпитером. Граф Ануанский, который так и сиял, мне за него отсчитал тридцать шесть червонцев, а за другое – три.

* * *

Мы домой отправились на закате. Во время пути я рассказал, чтоб позабавить товарищей, как однажды герцог Бельгардий приехал в Клямси поохотиться. Душа моя не видел за четыре шага. Моя должность была опрокидывать деревянную птицу, когда раздавался выстрел, и вместо нее ловко и быстро подносить другую с простреленным сердцем. Очень смеялись, и после меня каждый по очереди что-нибудь да выболтал смешное касательно этих господ... Добрые люди! Когда в величии своем они так роскошно скупают, ах, если б знали, как они нас забавляют!

О путанице недавней я рассказал, только когда уже подходили к дому. Узнав о ней, Флоридор стал горько упрекать меня за то, что я так дешево сбыв итальянское произведение, раз они так оценили мое собственное. Я отвечал, что, хоть я и люблю над людьми подтрунить, мне обирать их не хочется. Он упорствовал, ядовито спрашивал, хорошо ли кормит такая односторонняя забава! На какой черт людей морочить, если это прибыли не приносит!

Тут Марфа, мудрая дочь моя, сказала ему:

– В нашей семье, Флоридор, мы все таковы – большие и малые. Всегда мы довольны, всегда балагурим, всегда мы смеемся над тем, чем друг друга мы потчуем. Мой милый, не жалуйся очень-то. Ибо вот почему ты еще не олень с седьмой головой. Мысль, что могу всякий миг тебе изменить, так меня тешит, что изменять-то не стоит. Но не гляди так сердито. Не сетуй, муж; ведь сводится это к тому же. Спрячь рожки, улита, я вижу их тень.

ЧУМА

Первые дни июля

Верно сказано было: “Беда уходит пешком, а приезжает верхом”. К нам-то явилась она вершником орлеанских погонщиков.

В понедельник на прошлой неделе случай чумы был примечен в фаробе. Зерна растений сорных произрастают быстро. К субботе случаев этих уже было десять. Потом, приблизившись к нам, чума вспыхнула в Кулигах Винных. Суматоха в луже утиной! Храбрецы опрометью бросились бежать. Мы уложили жен и ребятишек и отправили их в дальний городок Мутновулай. Чем-нибудь да полезна беда: в доме нет болтовни. Флоридор тоже уехал с дамами, отговорившись тем – ох, лицемер, – что Марфа на носе. Всякие важные люди нашли очень важные предлоги, чтобы пойти погулять; запрягли повозку; показалось им нужным как раз в этот день осмотреть свои нивы.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Мы же, оставшиеся, бахвалились. Мы издевались над теми, которые предосторожности брали. Старшины поставили стражу у ворот городских, наказали им всех прогонять, бродяг и смердов, всех, кто войти бы попробовал. Остальные же, знать и те из мещан, у которых кошель был здоров, должны были подчиниться осмотру трех наших врачей: Ефима Пташкина, Мартына Теркина и Филиппа Телькина. Каждый из них налепил на себя в защиту от мора длинный нос, пропитанный мазью целебной, да большие очки. Это нас очень сместило; и Теркин (добрый он был человек) не выдержал. Сорвал он свой нос, говоря, что он не желает дурындиться, да и не верит в эту белиберду. Правда, – остался он с носом. Впрочем, и Пташник, который верил в личину свою (и даже на ночь ее не снимал), помер с таким же успехом. И один только выскочил Телькин – самый догадливый: он бросил не нос свой, а службу...

Стой, я мчусь сломя голову и уже оказался на кончике сказки, хоть еще не успел округлить хорошенько вступленье. Начнем сызнава, сын мой, снова возьмем козла за бородку. Ну что, ухватился?...

Итак, мы притворялись бесстрашными рыцарями. Так все были уверены, что чума не почтит нас приездом! Говорят, у нее тонкое чутье; запах наших кожен отогнал бы ее (всякий знает, что нет ничего здоровее). В последний раз, когда посетила она наш край (это было в тысячу пятьсот восьмидесятом году, мне было – возраст старого быка – четырнадцать лет), она только приблизила нос к порогу нашей двери и, понюхавши, воротилась восвояси.

С хохотом вспоминали мы об этом – добрые малые, удалые, смелые, разумные. Чтобы показать, что мы далеки от таких суеверий, а также от предрассудков врачей и старшин, мы храбро отправились к городским воротам и там, через ров переговаривались с теми, кто остался на противном берегу. Даже одни, из озорства, выскальзывали наружу и шли промочить себе горло в ближний кабак с некоторыми из тех, для которых врата рая были заперты да блюдимы сторожевыми ангелами (и то сказать, они не очень-то строги были). Я поступал так же. Мог ли я оставить их одних? Мог ли я допустить, чтоб другие под самым носом моим веселились, резвились да смаковали вместе свежее вино и свежие вести? Я сдох бы с досады! Итак, я вышел, увидя старого съемщика, которого я знал, – деда Хлебоеда. Мы с ним чокнулись. То был благодушный толстяк, круглый, красный и коренастый, который так и сиял на солнце потом и здоровьем. Он молодецвал еще больше меня, презирал болезнь, объявляя, что все это выдумки врачей. Умирают, мол, одни только робкие голяки, да и то от страха. Он говорил мне:

– Вот мое лекарство, отдаю его бесплатно:

Ноги бережно кутай,
пей в меру, мой друг,
не видайся с Анютой, –
не тронет недуг.

Мы провели добрый час вместе, дыша друг другу в лицо. У него была привычка во время разговора похлопывать собеседника по плечу, мять его ляжку или руку. Я об этом тогда не думал, но припомнил на следующий день. Утром первое слово моего подмастерья было:

– А знаете, дед Хлебоед-то... помер.

Ох! невесело стало мне, холодок прошел по спине. Я сказал себе: “Мой бедный друг, можешь снять сапоги. Ты обречен, недолго ждать”.

Иду к верстаку, принимаюсь строгать, дабы рассеяться; но уверяю вас, что не очень-то меня занимала работа. Я думал:

“Глупец! Так тебе и надо...” Но у нас в Бургундии не в обычае ломать себе голову над тем, что нужно было делать третьего дня. Живем мы сегодняшним. Эй, держись за него. Защищаться придется. Враг еще на меня не насел. Я думал было обратиться для совета к врачу. Но потом передумал. Я, несмотря на волнение, еще мог рассуждать по-нашему:

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
“Сыне, лекарь столько же знает, сколько и ты. Они возьмут твои денежки и чего ради пошлют тебя маяться в чумник, где очумеешь вконец. Держи, не выдай им тайны своей. Ты ведь еще не совсем обезумел? Если дело стоит лишь за тем, чтобы душу отдать, мы ее отдадим и без них. И клянусь (так было и будет), “несмотря на врачей, мы проживем до кончины своей”.

Но напрасно я себя разжигал, ободрял, – меня начинало поташнивать. Я ощупал себя тут, там... Ай! – вот она, наконец... И худшее то, что, когда наступило время обеда и я уселся перед полной тарелкой жирных красных бобов, вареных в вине вместе с ломтями просольной свинины (как вспомню я ныне, плачу слезами обиды), силы в себе не нашел я раздвинуть челюсти. Сжалось сердце мое. Я подумал: “Нет сомненья, я отхожу. Выть пропала. Это начало... Посему надо хотя бы дела свои привести в порядок. Если я позволю себе здесь умереть, эти разбойники-старшины прикажут дом мой сжечь, под предлогом (брэдни!), что другие в нем заболеют. Новый-то дом! Нужно же быть злодеем иль дураком! Нет, предпочитаю на навозе подохнуть. Мы их надуем! Не станем же время терять...”

Встаю, одеваюсь в самое ветхое платье, беру несколько хороших книг, несколько изречений прекрасных, сальные галльские сказки, апофегмы римские, “Золотые слова” Катона, “Les fees”, “Шутки” Буше да “Новый Плутарх” Жилия Коррозэ; кладу их в карман вместе со свечкой и краюхой хлеба; отпускаю подмастерья, запираю все двери и храбро отправляюсь в свой малый вертоград, лежащий на склоне холма вне города. Жилище неприхотливо. Лачужка. Угол для склада вручья, тюфяк соломенный да пробитый стул. Сожгут ее – не беда.

Не успел я прийти, как уже щелкал зубами, что ворона клювом. Меня трясла огневица, ломило в боку, желудок был точно выворочен... Что же тогда я сделал, добрые люди? О чем поведаю вам? О дивных ли поступках, о великодушии, достойном Рима, о стойкости перед судьбой вражеской и болью внутренней?... Добрые люди, я был один, никто не видел меня. Поверьте, я и не пытался перед стеной разыгрывать Регула Римского! Упал я ничком на солому и давай выть! Неужто ничего не расслышали? Голос мой был очень ясен. Он дошел бы до самой луны.

– Ах, Господи! – хныкал я. – Ну можно ли так мучить кроткого человека, который не причинил тебе никакого зла?... Ох! голова моя! Ох! бока! Как тяжело умирать во цвете лет! Горе мне, горе! Ужель непременно ты хочешь так скоро видеть меня? Ох – спина!... Конечно, я был бы рад – польщен то есть – тебя посетить, но, раз встреча наша все равно неизбежна, к чему эта гонка? Ох, селезенка!... Повременим. Господи, я только бедный червячок. Если уж выхода нет, – да святится воля твоя. Видишь, как кроток, покорен я... Мерзавец! Уберешься ли ты отсюда? Долго ли будет зверь этот грызть меня в бок?

Поорав хорошенько, я не то чтоб унял боль, но растратил все свое жалобное красноречие. Я подумал: “Пустое. Или нет у него ушей, или он слушать не хочет. Коль правда, что я – его образ, он поступит по-своему, напрасно вою я. Пощадим легкие. Жизни осталось-то, может быть, на часок или на два, что же безрассудно тратить ее! Будем наслаждаться тем, что еще не ушло, этим добрым, старым телом, с которым придется расстаться (эх, дружище, не хочу, а надо!). Умираешь раз. Удовлетворим хотя бы любопытство свое. Посмотрим-ка, каким способом из шкуры вылезают. Когда я ребенок был, умел я лучше всех выделять из сучьев ивовых чудесные свистелки. Рукояткой ножа я бил по коре, пока она не растрескивалась. Мне думается, что Тот, который смотрит на меня с неба, тешится точно так же моим телом. Бей! тресну ли? Ай, удар был хорош! И не стыдно ему, пожилому такому, находить прелесть в мальчишеской забаве! Стой, Персик, не сдавайся, и, пока еще держится кора, наблюдаем, запишем, что под ней происходит. Рассмотрим бочку свою, вспеним мысли, изучим, продумаем, уьемся соками, что в поджелудочной железе нашей переливаются, вращаются, вздорно ссорятся; просмакуем эти боли острые, взвесим, ощупаем кишки свои да почки...” [Тут мы позволим себе пропустить несколько строк. Рассказчик не избавляет нас ни от одной подробности касательно состояния его внутренностей; внимание, с которым он к ним относится, заставляет его распространяться о предметах, не особенно приятных на запах. Добавим, что физиологические познания его, которыми он, видимо, гордится, порой несколько сомнительны. (Примеч. автора.)]

Так, созерцаю себя. Порою же прерываю исследования, чтобы реветь. Ночь тянулась бесконечно. Зажигаю свечку, втыкаю ее в горлышко старой бутылки (нежно пахнет она смородиной, но далече наливка: образ того, чем предполагал я стать в ближайшем будущем! Тело ушло, оставался только дух). Извиваясь на соломенном

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
своем тюфяке, я пытался читать. Возвышенные апофегмы римлян не имели никакого успеха. К черту этих бахвалов! “Не всяк создан для того, чтобы в Рим попасть”. Ненавижу глупую гордость. Желаю я посетовать всласть, коли резь у меня в животе... Но когда затихает она, коль могу, хочу я смеяться. И я смеялся. Вы не поверите? Да, хоть страдало тело мое, как зерно под жерновом, хоть зуб на зуб не попадал, – раскрыв наугад книгу “Шуток” доброго этого Буше, я нашел в ней одну такую крупную, хрустящую и золотистую... шут его побери! – что я захлебнулся от хохота. Я говорил себе:

– Вот дурень! Эй, перестань. Тебе же будет хуже.

И что ж: посмеюсь, а после повою, повою, опять засмеюсь. И мычу я, и ржу я... Чума и та хохотала. Ах! мой бедный мальчишечка, стону-то, смеху-то!...

Когда забрезжило утро, я уже годился в покойники. Не мог я стоять. Ползком дотатился я до единственного оконца. Выходило оно на дорогу. Дождавшись прохожего, его я окликнул слабым, надтреснутым голосом. Нужды не было слышать, чтобы понять. Он увидел меня и, крестясь, пустился бежать. Через четверть часа уже стояло – какая честь! – двое стражников перед домом моим; и запрещено мне было переступить порог оно. Увы! я и не пытался. Только просил я их послать в Дорнси за старым другом моим, нотариусом Ерником, дабы составить завещанье. Но они так трусили, что страшило их самое дуновенье голоса моего; и мне кажется, честное слово, что из боязни чумы они затыкали себе уши. Наконец поленичек-подкидыш, пастушок при гусях (доброе сердечко!), который меня полюбил после того, как я его однажды поймал, когда он поклевывал вишни в саду моем, и сказал ему: “Дрозденек, сорви-ка заодно и для меня”, – пастушок подкрался к окну, подслушал и воскликнул:

– Господин Персик, я побегу!

...Что произошло потом, очень мне было бы трудно вам рассказать. Знаю только, что в продолжение долгих часов я в бреду валялся на соломе, язык высунув, как теленок. Хлопанье бича, звон бубенцов на дороге, могучий знакомый голос... Ну, думаю, приехал Ерник... Стараюсь приподняться. Ах! жизнь моя тяжкая! Мне казалось, что несусь я святого Мартына на затылке и черта на заду. Говорю себе: “когда бы в придачу были еще скалы Басвильские, все равно надо тебе встать...” Мне хотелось, видите ли, узаконить (ночью-то я успел многое передумать) некоторые намеренья, сделать в пользу Марфы и Глаши оговорку в завещанье, которую не могли бы оспаривать мои четыре сына. Я взвалил на подоконник голову свою; весила она не меньше нашего огромного городского колокола, падала вправо, влево... Увидел я на дороге двух милых толстяков, которые глаза тарачили с выраженьем ужаса. То были Антон Ерник и поп Шумила. Верные мои друзья примчались во весь дух, чтоб успеть застать меня в живых. Должен заметить, что, когда увидели они меня, пыл их остыл. Они оба шагнули назад (верно, для того, чтобы лучше судить о картине). И проклятый этот Шумила, в виде утешенья, повторял:

– Господи, как ты гадок! Ах! мой бедный друг! Ты гадок, гадок... Гадок, как сало желтое...

Я же сказал (запах здоровья их ободрял телесные мои чувства):

– Что же вы не войдете? Вам, должно быть, жарко.

– Нет, спасибо, нет, спасибо! – воскликнули они в один голос. – Очень нам здесь хорошо.

Ускорив отступление, остановились они под прикрытьем повозки; Ерник для вида тряс удила ослика своего, который и так изнемог.

– Как поживаешь? – спросил Шумила, привыкший беседовать с умирающими.

– Эх, мой друг, кто болен, тот не спокоен, – отвечал я, головой качая.

– Как мало мы стоим! Вот, Николка-бедняга, что тебе я всегда говорил? Бог всемогущ. А мы только дым, навоз. Сегодня пляшу, а завтра – в гробу. Сегодня в цветах, а завтра в слезах. Ты не хотел мне верить, все шуточной казалось тебе. Было сладко, дошел до осадка. Что ж, Персик, не горюй. Бог отзывает тебя. Ах, что за честь, мой сын! Но надо для этого быть прилично одетым. Давай, душу

Перевод– Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
вымю. Приготовься, грешник.

Я в ответ:

- Сейчас. Еще есть время, поп.
- Несчастный! Перевозчик не ждет.
- Ничего, я пойду пешком.

Он рукой замахал:

- Персик, дружок, братец! Ах! Ты явно еще прикован к сомнительным благам земли. Что же в ней такого хорошего? Все-то в ней суета сует, бедствие, ложь, лукавство, коварство, глупость, кривда, боль, увяданье. Что мы тут делаем?
- Ты меня приводишь в отчаянье, – говорю, – я не в силах оставить тебя здесь.
- Мы увидимся там.
- Да почему же не пойти вместе? Ну, ладно, – прохожу вперед. За мной, честные люди!

Они притворились, что не слышат. Шумила возвысил голос:

- Время тает. Персик, и ты таешь вместе с ним. Лукавый, некошный подстерегает тебя. Неужели ты хочешь, чтобы жадный зверь схапал твою измызганную душу? Не упрямясь, Николка, покайся, приготовься, сделай это, мой мальчик, сделай это ради меня, куманек.
- Я это сделаю, – говорю, – сделаю ради тебя, ради себя и ради Него. Боже меня упаси отнестись ко всем вам без должного вниманья! Но, пожалуйста, я хочу сперва два слова сказать господину нотариусу.
- Потом скажешь.
- Никаких. В первую голову – Ерник.
- И не стыдно тебе. Персик, ставить Вечного после маклера?
- Вечный может подождать или пойти погулять, если хочет: я с ним все равно встречусь. Но земное меня покидает. Вежливость требует, чтобы я посетил на прощанье того, кто принял меня, прежде нежели идти в гости к тому, кто меня примет... может быть.

Он стал настаивать, умолять, кричать. Я не сдался. Антон Ерник достал свой прибор письменный и, сидя на межевом камне, составил в кругу зевак и собак мое всенародное завещанье. После чего я с кротостью очистил душу свою. Когда все было кончено (Шумила продолжал свои увещеванья), я сказал умирающим голосом:

- Поп, передохни. Все, что ты говоришь, прекрасно. Но соловья баснями не кормят. Ныне, когда душа моя готова к отъезду, я хотел бы по крайней мере выпить на прощанье. Друзья, бутылку!

Ах, молодцы! Хоть жили по завету Божьему, оставались они истыми бургонцами, и верно они угадали мое последнее желанье! Вместо одной бутылки они притащили целых три: шабли, пуи, иранси. Из окна моего, точно с лодки, готовой к отплытью, я кинул веревку. Поленичек подвязал старую корзинку, и я из последних сил втянул последних своих друзей.

Снова упал я на солому; все удалились, но я чувствовал себя уже менее одиноким. Не попытаюсь вам рассказать, как прошли следующие за этим часы. Странное дело, я никак не могу их найти. Верно, кто-нибудь под шумок своровал штук восемь, а не то – десяток. Знаю только, что я был поглощен обширной беседой со святой троицей бутылок; и ничего не помню из того, что говорилось. Теряю Николку Персика: куда он мог улизнуть? Около полночи я снова вижу себя. Сажу в своем саду, распластав зад на грядке земляники, сочной, влажной, свежей, и гляжу на небо сквозь ветки маленькой сливы. Сколько огней там в вышине, сколько теней здесь внизу! Луна мне

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
казала рожки. Поодаль видел я ворох старых лоз виноградных, черных, кривых и когтистых, как змеи, кишели они и, чудовищно корчась, за мной наблюдали. Но кто объяснит мне, что я здесь делаю?... Кажется мне (все перепуталось в мыслях моих слишком пышных), что сказал я себе:

– Встань, христианин. Император Римский не должен, Николка, в постели своей умирать. В бутылках пусто. Больше нечего делать нам здесь! Пойдем просвещать капусту!

Мне кажется тоже, что я собирался нарвать чесноку, ибо он, говорят, очумляет чуму. Помню ясно лишь то, что, когда я ногу поставил (и тут же плюхнулся) на мать-землю сырую, меня охватило внезапно очарование ночи. Небо, словно огромный орешник, круглый и темный, надо мной расширялось. На ветвях его тысячи тысяч плодов повисало. Колыхаясь мягко, блистая как яблоки, звезды зрели в сумраке теплом. Плоды моего вертограда мне казались звездами. Все наклонялись ко мне, чтобы видеть меня. Чувствовал я, что тысяча глаз за мною следит. Шушуканье, смех пробегали в земляничных кустиках. На сучке надо мной груша маленькая, краснощекая и золотистая, голосом тонким, светлым и сладким мне напевала:

Вкоренись, вкоренись,
человечек седой!
Чтобы в рай вознестись,
за меня зацепись,
стань ползучей лозой.
Вкоренись, вкоренись,
человечек седой!
И со всех ветвей сада земного и сада небесного хор голосков, шепчущих,
трепетных, песенных, вторил:

Вкоренись, вкоренись!
Тогда погрузил я руки в землю и сказал:

– Хочешь ли меня? Я-то хочу.

Земля моя добрая, мягкая, сочная! В нее я по локти вошел; как грудь, она таяла, и мял я ее коленями, пальцами. Я к ней прижался вплотную, запечатлел в ней свой след с головы до пяток; в ней постлал я постель себе, лег; во всю длину растянувшись, я глядел на небо, на грозди звезд, рот разинув, как будто я ожидал, что одна из них мне на язык вот-вот упадет. Июльская ночь заливалась “Песнею песен”. Безумный кузнечик кричал, кричал, кричал во все нелегкие. Часы святого Мартына внезапно пробили двенадцать, или четырнадцать, или шестнадцать (поистине это был звон необычный). И вот уже звезды, звезды на небе и звезды в саду моем перезвон затевают... Что за музыка, Господи! Сердце мое чуть не лопалось; грохотало в ушах, как грохочут оконные стекла в грозу. И я видел со дна своей ямы, как восходило дерево райское: лоза виноградная, гроздьями увешанная, из пупа моего вырастала. Вместе с нею и я поднимался. И весь мой сад сопутствовал мне, распевая. На самой высокой ветке звезда висячая плясала как шалая, и, запрокинув лицо, чтобы видеть ее, лез я, тянулся я к ней и во все горло орал:

Виноградинка моя,
Подожди, молю я!
Лезу я, сорву тебя!
Аллилуйя.

Я лез, вероятно, большую часть ночи. Распевал не умолкая в продолжение целых часов, как передавали мне после. Пел я на все лады, духовное, светское, песни похоронные и песни свадебные, кондаки и тропари рождественские, погудки охотничьи и плясовые, песни наставительные и другие – веселенькие, и наигрывал я то на гитаре, то на волынке, бил в барабан, трубил. Сбежавшиеся соседи надрывали себе животики и говорили:

– Ну и гомон! Это Николка дух испускает. Он спятил с ума, спятил с ума!...

На следующий день я, так сказать, не соперничал с солнцем: оно встало раньше меня. Было за полдень, когда я проснулся. Ах, как приятно было мне, друже, снова увидеть себя в яме своей земляной. Не то чтобы мягкостью ложе мое отличалось, по правде сказать, чертовски болела спина. Но как сладостно знать, что спина еще есть! Итак, не ушел ты, Персик, милый дружок. Дай – поцелую тебя, мой сынок. Дай

Перевод – Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– ошупаю я это тельце, это славное личико! Да, это ты. Как я рад! Если б меня ты покинул, никогда я, Николка, не мог бы утешиться. Здравствуй, о сад мой! Дыни мои улыбаются радостно мне. Зрите, касатики.

Прервал мое созерцание рев двух ослов, раздавшийся вдруг за стеной:

– Персик! Персик! Ты умер?

То Ерник и Шумила, которые, не слыша больше моего голоса, горюют на дороге и уже, вероятно, возносят мои добродетели. Я встаю (ах! поясница промятая!). Подхожу тихонько и, вдруг высунувши голову из дырки оконца, кричу:

– Ку-ку, вот и он!

Они так и отпрянули.

– Персик, ты, значит, не умер!

Они от радости разом смеялись и плакали. Я показал им язык.

– Человечек живехонек!...

Поверите ли вы, что эти скоты меня оставили в продолжение двух недель в чертоге моем под замком, пока не уверились в том, что я выздоровел! Впрочем, я должен сказать, что я благодаря им не ощущал недостатка ни в манне небесной, ни в воде ключевой (разумею вино я – водицу Ноя). Даже вошло у них в привычку по очереди приходить, чтобы, сидя под окном моим, поведать мне новости дня.

Когда я в первый раз вышел, Шумила сказал мне:

– Друг дорогой, видишь – святой Рох тебя спас. Пойди же отблагодари его. Сделай это, прошу!

Я в ответ:

– Не он – а, скорее, святой Иранси, святой Шабли или Пуи.

– Ну ладно, Николка, поступим мы так: пойдя ко святому Роху ради меня, я ж, ради тебя, пойду на поклон к святой Бутылке.

Пока совершали мы это двойное паломничество (взяли мы также и Ерника), я заметил:

– Сознайтесь, друзья, что вы с меньшей охотой бы чокнулись в день, когда я на прощанье хотел с вами выпить? Вы не казались особенно рады за мною последовать.

– Люблю я тебя, – сказал Ерник, – люблю я, клянусь; но что же поделаешь? Себя я тоже люблю. Верно сказано: “Своя рубашка ближе к телу”.

– Грешен я, грешен, – гремел Шумила и бил себя в грудь, как в барабан, – я трус, такова уж природа моя.

– Куда же, Ерник, ты дел уроки Катона? А ты, поп, к чему послужила тебе вера твоя?

– Ах, мой друг, как сладостна жизнь, – оба сказали они со вздохом глубоким.

Поцеловались мы тут, рассмеялись и вместе сказали:

– Добрый человек не дорого стоит. Брать его нужно как есть. Бог его сделал. Он правильно сделал.

СМЕРТЬ СТАРУХИ
Конец июля

Я принялся вновь наслаждаться жизнью. Мне не стоило это большого труда, как вы понимаете сами. Даже, Бог весть почему, мне казалась она еще слаще, воложней,

Перевод- Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
чем прежде, – нежной, пухлой и золотистой, на диво поджаренной, сочно-хрустящей
в зубах и тающей на языке. Ненасытность воскресшего! Лазарь, должно быть,
здорово ел!

Однажды, как после работы радостной, бой мы с друзьями вели на оружие Самсона,
входит крестьянин, пришедший из дальней деревни.

– Сударь, – он мне говорит, – я третьего дня видел вашу хозяйку.

– Ишь ты! Везет же тебе, – говорю, – ну как поживает старуха?

– Прекрасно. Она отправляется.

– Куда же?

– Она отправляется, сударь, бежит со всех ног в лучший мир.

– Он это свойство утратит, – заметил какой-то шутник.

Другой подхватил:

– Отходит она; но ты остаешься. За твое здоровье, Николка. Было счастье одно, а
вот и второе.

Я же, чтоб им подражать (встревожился я, как-никак):

– Чокнемся! Бог человека любит; Он у него отнимает жену, когда уж не знает, что
с нею делать.

Но вино показалось мне вдруг горьковатым, не мог я стакан свой допить; тогда,
взяв дубинку, я встал и ушел, ни с кем не простившись. Они закричали мне вслед:

– Что за муха тебя укусила?

Но я уже был далеко, не ответствен я, сердце сжималось... Видите ли, можно
старуху свою не любить, можно друг друга пилить ночью и днем, в продолжение
четверти века, – но когда безносая смерть приходит за нею, за тою, которая,
плотно прижавшись к тебе в слишком узкой постели, потея, грела тебя столько лет
и в своем тощем теле взлелеяла семя твое, – чувствуешь что-то вот здесь;
подступает к горлу комок; это как будто часть от тебя отделяется; и хоть она
некрасива, хоть тебе она вечно мешала, все же больно тебе за нее, за себя,
жалеешь ее... Прости, Господи! любишь...

Я прибыл на следующий день, когда уж темнело. Мне стоило только взглянуть, чтоб
увидеть, как хорошо поработал великий ваятель. Из-под ветхой завесы сморщенной
кожи лик смерти, угрюмый, глядел. Но еще более верным предвестием скорой кончины
было то, что, когда я вошел, она мне сказала:

– Мой бедный старик, ты не слишком устал?

Заботливость эта глубоко меня умилила. Я подумал: “Сомневаться нельзя. Умирает
старушка. Она подобрела”.

Сел я подле постели, взял ее руку. Слишком ослабнув, чтобы говорить, она глазами
благодарила меня за то, что пришел я. Стараясь ее подбодрить, стараясь шутить, я
рассказал ей, как я только что надул поторопившуюся чуму. Она ничего об этом не
знала. Так взволновал ее мой рассказ (эх, косолапый!), что ей сделалось дурно,
чуть не скончалась она. Когда же она очнулась, у нее вернулась способность
говорить (слава те, Боже, слава те, Боже). И злость вернулась тоже. Вот начинает
она, заплетаясь и дрожа (слова не хотели выходить или выходили совсем не те: это
ее бесило), начинает она меня осыпать бранью, говоря, что с моей стороны было
грешно ее не оповестить, что нет у меня сердца, что я хуже пса, что, как пес, я
должен был бы подохнуть тогда, катаясь от боли на своем навозе. Выслушал я много
еще таких нежностей. Старались ее успокоить. Говорили мне:

– Уходи! Видишь, ты причиняешь ей боль. Удались на мгновение.

Но я, я смеюсь, нагнувшись над ее постелью, и говорю:

– Вот и ладно. Я тебя опять узнаю. Еще есть надежда. Ты все так же бранчлива.

И, взяв ее голову в свои толстые лапы, поцеловал я ее, от всего сердца, дважды, в щеки. И она вдруг заплакала.

Неподвижные, безмолвные, остались мы с ней одни в спальней, где за обоями сухо тикал буравец, словно маятник роковой. Другие удалились в соседнюю комнату. Она мучительно хрипела, ей, видно, говорить хотелось.

Я сказал:

– Не утомляйся, жена. За эти двадцать пять лет мы все успели друг другу высказать. Мы понимаем друг друга без слов.

– Мы не высказали ничего, – упорствовала она. – Я должна говорить, Николка; иначе рай... куда мне не попасть...

– Да что ты, что ты...

– Иначе рай мне покажется горше яда адова. Я была, Николка, резка и сварлива...

– Да нет же, нет же, – сказал я. – Немного горечи дня здоровья полезно.

– Брюзглива, ревнива, придирчива, вспылчива. Злобой своей наполняла я дом; я тебе досаждала во всем.

Легонько пошлепал я руку ее:

– Дело не в том... У меня шкура твердая.

Она продолжала, еле дыша:

– Все оттого, что тебя я любила.

– Еще бы, не сомневался я в этом. Всякий любовь выражает по-своему. Ты выражалась темно.

– Я любила тебя; а ты – ты меня не любил. Вот почему ты был добр, а я так несносна: я мстила тебе за эту твою нелюбовь; ты же и в ус не дул. У тебя был смех свой, Николка, тот же смех, как и ныне... Господи, как он помучил меня! Ты кутался в нем от дождя; и сколько угодно могла я дождить, не в силах была я тебя промочить, разбойник. Ах! Сколько ты зла причинил мне! Сколько раз, Николка, я околеть собиралась!

– Бедняжка, ты знаешь, я ведь воды не люблю.

– Ты смеешься, бесстыжий! Что ж! Ты прав. Смех согревает. Ныне, как холод земли уже ноги сковал мне, я смех твой лучше могу оценить; одолжи мне свой плащ. Смейся досыта, муж; я на тебя перестала сердиться; и ты, Николка, прости мне.

– Ты была хорошей женой, – сказал я, – честною, бодрою, верною. Не всегда ты, пожалуй, любезна бывала. Но нет среди людей совершенства: непочтительно было бы это по отношению к тому, кто один – совершенство (говорю понаслышке). И в черные часы (не в часы ночи, когда серы все кошки, а в годы бедствий и тощих коров) ты не была так плоха. Ты работала бодро, не жалуясь; и угрюмость твоя мне даже прекрасной казалась, когда ты боролась против злобной судьбы, не уступая ни пяди. Не станем же ныне мучить себя из-за прошлого. С нас довольно того, что мы уж разок несли, не сгибаясь, его и не запятнали себя унижением принятым. Что сделано – сделано, и переделать нельзя: ноша лежит на земле. Может, хозяин теперь взвесит ее, если хочет! Это нас не касается. Ух! Отдохнем, старина. Нам только осталось ремень отстегнуть, который впился нам в спину, да потереть закоснелые руки, избитые плечи да выкопать яму в земле, где бы спать мы могли, рот разинув, храпя, как орган (Requiescat! [Да упокоится! (лат.)] Мир вам, поработавшим много!), сладостно спать, беспробудно...

Она слушала, закрыв глаза, скрестив руки. Когда я кончил, она глаза открыла, руку протянула:

– Друг мой, спокойной ночи. Ты завтра разбудишь меня.

Опустилась рука.

Тогда, любя до конца порядок, она вытянулась во всю длину на постели своей, подвела под самый подбородок простыню так, чтобы ни единой не было складки, и прижала к худой груди распяты; после чего, с решительным видом, сморщив нос, устремив в одну точку взгляд, она, готовая к отбытию, стала ждать. Но, видно, старые кости ее до того, как покой обрести, должны были для очищения пройти сквозь горе – огонь земли (таков наш удел). Ибо в тот же миг дверь распахнулась, и, в комнату стремительно влетев, хозяйка прерывающимся голосом закричала:

– Сюда, сюда, скорей, сударь!

Я спросил, не понимая:

– Что случилось? Говорите тише.

Но та, которая уже пустилась в великое странствие, могла, казалось, с вышины дорожной повозки обернувшись, видеть через головы наши то, что не видел я; она приподнялась на смертном одре, выпрямилась, как пробужденный Христом, протянула руки и закричала:

– Моя Глаша!

В свою очередь понял и я, потрясенный возгласом этим и хриплым кашлем в соседней комнате. Побежал я туда, нашел мою бедную синичку, которая старалась лапками своими разжать руку, взявшую ее за горло, и, красная вся, горячая, молча молила, раскрыв непонимающие глаза, трепеща, как раненая птичка...

Как прошла эта ночь – и рассказать я не в силах. Ныне, через пять дней точно отсчитанных, при воспоминании одном у меня отнимаются ноги; должен я сесть. Ох! Дайте мне отдышаться... Надо ж, чтобы был на небесах некий Хозяин, которого бы забавляло длительно мучить крошечных этих зверьков, ощущать, как в пальцах его детская тонкая шейка хрустит, видеть, как бьются они! Как может он переносить упрек удивленный их взгляда! Я понимаю, что можно бить таких старых ослов, как я, боль причинять тому, кто защищаться умеет, – крепким гусям, самкам спинастым. Да, приятно тебе заставляя нас кричать, коли можешь, ну что же, Господи, жарь! Человек – подобье твое. Да, ты, как и он, не всегда благодушен бываешь. Иногда ты причудлив, лукав, вредишь из желанья сломать, силу свою испытать иль потому, что ты раздражен, встал с левой ноги, а не то – просто так – от нечего делать... Да, я это еще понимаю. Мы достаточно взрослые, можем за себя постоять. Если уже надоедаешь ты нам чересчур, мы высказать это умеем. Но целиться в бедных ягнят, у которых еще молоко на губах не обсохло, – нет, стой! Нет, это слишком жестоко, мы не позволим! Ни Бог, ни король не должен злоупотреблять своим правом. Предупреждаем мы, Господи, если будет так продолжаться, нам, к сожаленью, придется тебя развенчать... Но не хочу я думать, что все это дело рук твоих, я слишком тебя уважаю. Чтобы объяснить такие преступления, Отче наш, допустить надо, что либо нет у тебя глаз, либо не существуешь ты вовсе. Ай! Вот словцо непристойное, беру его назад. Доказательство быта твоего – это то, что мы сейчас беседу с тобою ведем. Сколько споров бывало у нас! И, между нами говоря, сколько раз, Господине, я заставил тебя замолчать. В эту злосчастную ночь, ах, как я звал тебя, звал, поносил, устрашал, отрицал, умолял, заклинал! То к тебе я протягивал сжатые руки, то показывал сжатый кулак... Все ни к чему, ты и не дрогнул. По крайней-то мере, ты не можешь сказать, что я не старался! И раз ты и слушать не хочешь, черт с тобой! Мы знаем других, мы к другим обратимся!

Мы бодрствовали, я да старая хозяйка (Марфа, которая почувствовала в дороге родильные боли, остановилась в Дорнси, поручив Глашу бабушке). Когда мы заметили поутру, что маленькая наша мученица вот-вот отдаст душу, тогда приняли мы решительные меры. Я на руки поднял ее прелестное бедное тельце, легкое, как перышко (у нее даже не хватало сил биться; свесив вздрагивающую головку, она чуть трепетала, как воробушек). Посмотрел я в окно. Был ветер и дождь. Роза склонялась на стебле у самой оконницы, как будто желая войти. Предвестие смерти. Я перекрестился и дверь распахнул. Буйный ветер влажный вметнулся в комнату. Я рукой прикрыв головку птенчика моего, боясь, как бы буря не задула огонька его. Мы вышли. Впереди шла хозяйка с подарками. Вглубились мы в лес, окаймлявший

Перевод– Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
дорогу, и вскоре увидели на краю трясины дрожащую осину. Над толпою камышей
гибко-выинных царствовала она, высокая и стройная, как башня. Трижды мы кругом ее
обошли. Маленькая моя стонала, и ветер в листве, как и она, щелкал зубами. К
ручке ребенка мы привязали один конец ленты, другой же – к суку этого старого,
дрожащего дерева; и мы оба, я да хозяйка беззубая, повторяли:

Трепет, милая осина,
Отними ты у меня.
Именем Отца и Сына,
Именем Святого Духа
Заклинаю я тебя.
Если ж ты мольбу мою
Из упрямства не поймешь,
Дрожь мою не заберешь,
Берегись! Тебя срублю.

Потом старуха между корней вырыла ямку, выплеснула в нее кружку вина, два зубка
чесноку, ломтик сала и сверху положила грош. Трижды мы обошли вокруг лежащей
шапки моей, полной камышей. И на третий раз в нее плюнули, приговаривая:

– Да задушит вас жаба, гниучие жабы, поджавшие лапы!

На обратном пути, у опушки леса, мы встали на колени перед кустом шиповника,
опустили девочку к его подножью и через него обратились к Сыну Божьему с
молитвой.

Когда мы домой воротились, казалась она бездыханной. По крайней мере, мы сделали
все, что могли.

Меж тем жена–то моя все умереть не решалась. Любовь к внучке ее не пускала. Она
бесновалась, кричала:

– Нет, я не уйду. Господи Боже, Иисусе, Мария, пока не узнаю, что с нею хотите
вы сделать, переживет ли она или нет. Переживет, так хочу я, хочу я – и все тут!

Видно, это было не все, – досказав, она вновь начинала! А я–то думал было, что
она вот–вот испустит последний вздох. Коль это последний, – здоров же голубчик...
Персик, гадкий мальчишка, ты опять зубоскалишь... и не стыдно тебе? Что поделаешь,
друг мой! Я уж так создан. Смеяться – мне не мешает страдать; но страдать –
никогда не помешает бургундцу смеяться. И смеется он или хнычет, первым делом
должен он смотреть во все глаза!...

Итак, мне от этого было не легче слушать, как дышит и задыхается моя старушка; и
хотя мне было не менее больно, чем ей, я старался ее успокоить, я ей говорил те
слова, которыми детей утешаешь, я ласково кутал ее в одеяло. Но она вырывалась,
сердито кричала:

– Пустоколп! Будь ты мужчиной, ее удалось бы спасти. Сам ведь ты спасся, небось.
А на что ты годишься? Тебе б умереть, а не ей.

Я в ответ:

– Да что ж, я с тобою согласен, жена, ты права. Если кто–нибудь хочет шкуру мою
– отдаю. Но, верно, там в небесах спроса нет на нее; слишком она ведь поношена.
На что мы с тобою годимся? Только на то, чтоб страдать. Будем же мучиться молча.
А ей–то, невиненькой, может быть, лучше, может быть, легче, мало ли что ожидало
ее.

Тогда прижалась старушка щекою к щеке моей, и наши слезы лились и сливались.
Вокруг ощущалась тяжелая тень крыльев ангела смерти...

И вдруг он исчез. Свет вернулся опять. Кто сотворил это чудо? Бог ли небесный,
лесные ли боги, или Христос мой жалостивый, или земля угрозная, льющая, пьющая
зло? Было ли это действие наших молитв, или страха жены моей, или же старой
осины, которой я лапку подмаслил? Никогда не узнаем. И, пребывая в сомнение,
благодарю я (это вернее) всех их да еще прибавляю тех, с которыми я не знаком.
(Быть может, они–то и есть наилучшие.) Как бы то ни было, самое важное то, что с
этого дня жар у нее стал спадать, заструилось дыхание из крошечных легких, как
ручеек легкий; и покойница малая, вырвавшись вдруг из объятий ангела, чудом

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru воскресла.

Сладко растаяло старое сердце наше. Оба запели мы: "Nunc dimittis [Ныне отпускаеши (лат.)], Господи!" И старуха моя, ослабев, слезами счастья рыдая, уронила тогда на подушку тяжелую голову (камень, идущий ко дну) и шепнула:

– Наконец-то уйти я могу!...

Тотчас потух ее взгляд, щеки впали, как будто ветер с налету сорвал ее душу. И я, наклонясь над постелью, на которой ее уже не было, я смотрел, как смотришь в омут речной, где вогнутый след потонувшего тела остается на миг и, вращаясь, стирается. Я прикрыл ей глаза, поцеловал ее лоб восковой, сложил ее руки, жесткие руки, при жизни не знавшие роздыху, и, беспечально оставя лампаду погасшую, сел я возле нового пламени: дом отныне оно осветит. Я стерег его сон, я глядел с умиленной улыбкой и думал (нельзя запретить себе думать): "Не странно ли, что можешь так привязаться к этой такой маленькой штучке? Без нее ничего нам не любо. С нею – все хорошо, даже – самое худшее. Да, я вполне бы мог умереть, черт меня подери! Только б жила она, только б жила, – остальное все пустяки!... Это, однако, уже чересчур! Как, я здесь, я живу, я здоров, я хозяин пяти своих чувств (да еще многих других в придачу, из коих самое лучшее – чувство здравого смысла), никогда не роптал я на жизнь; чтобы быть в состоянье всегда нажираться, в брюхе несу я десяток аршин кишек пустых, крепок, ясен мой разум, искусна рука, ляжка крепка, я хороший работник, бодрый бургундец, и все это, все это готов я пожертвовать ради крошечной твари, которой я даже не знаю! Ибо кто же она, наконец? Смешной кочешок, игрушечка нежная, попугайчик, поршок... Она еще ныне ничто, но будет, быть может... И вот ради этого "может быть" я расточил бы свое "я есмь, и я – здесь, и мне здесь хорошо..."? Да! ведь это "быть может" – мой лучший цветок, отрада жизни моей. Когда закишит червями тело мое, когда растает оно на скудельнице, Господи, я буду жить, я воскресну в другом, прекрасней, счастливей, добрее... Да, как знать? Почему же он, этот "другой", будет лучше меня? Потому что он встанет на плечи ко мне, на могилу мою, и дальше увидит... О вы, из меня возникшие, вы, которые станете солнечный свет впивать, когда уже я, так любивший лучи, не буду обласкан ими, знайте: через ваши глаза наслаждаюсь багряными жатвами дней и ночей грядущих, вижу, как годы чредятся, годы, века, упиваюсь я тем, что предчувствую, и тем, что я знать не могу. Все проходит вокруг, вернее-то, я прохожу; иду я все дальше, все выше, поддержанный вами. К землице своей я уже не прикован. Дальше, все дальше, за жизнью, за полем моим, тянутся борозды; мир обнимают они, через небо стремятся, как млечный Путь расширяясь, узорят они весь лазоревый свод. Вы – желанье мое, упованье и горсти семян, которые щедро я рассыпаю в пространствах бездонных".

СОЖЖЕННЫЙ ДОМ
Середина августа

Отметим ли день сей? Жесткий кусок... Он еще не совсем переварен. Смелее, старик, смелее! Это будет лучший способ заставить его растаять.

Говорят: летний ливень – мешок гривен. В таком случае я должен был стать богаче Креза: дождь все лето хлестал меня по спине, без передышки; однако я наг и бос, как юродивый. Только успел я пройти сквозь двойное испытанье (Глаша вылечилась, и жена моя тоже, одна от болезни, другая от жизни), как я получил от сил, управляющих миром (должно быть, на небесах есть женщина, которая сердится на меня; что я ей сделал?... Меня любит она, черт возьми!), такой яростный удар, что ныне я гол, избит, ноет все тело, но (что ж, это главное) кости целы.

Хотя и оправилась внучка, я все же не торопился вернуться восвояси; я оставался возле нее, наслаждаясь ее выздоровленьем еще больше, чем она сама. Когда ребенок так воскресает, это как будто видишь сотворенье мира; вселенная кажется свежеснесенной и млечно-белой. Итак, я бродил без дела, рассеянно слушая вести, которыми угощались, отправляясь на рынок, кумушки. И вот однажды мимолетное слово заставило меня наострить уши (...старый ослик, чувствующий близость дубины хозяйской). Говорили, что вспыхнул пожар в Клямси, в предместье Бевронском, и что дома пылают как хворост. Ничего больше я узнать не мог. Начиная с этой минуты я стоял (из сочувствия) как на угольях. Напрасно говорили мне:

– Будь покоен! Дурные весточки быстры, как ласточки. Если б дело касалось тебя, ты уже знал бы. Кто говорит о твоём доме? Мало ль ослов в Бевроне...

Но я места себе не находил, я бормотал:

– Это он... Он пламенеет. Пахнет горелым.

Взял я посох, отправился в путь. Я думал: “Ну и дурак! Впервые я покидаю Клямси, ничего не спрятав”. Я, бывало, всегда, завидя врага, уносил под защиту стен, на другую сторону моста, свои пенаты, деньги, те создания искусства моего, которыми я всего более горжусь, вручье и утварь да всякие безделушки: уродливы они, громоздки, а не отдам их за все золото мира, ибо они святые останки наших бедных радостей. В этот раз я о них не позаботился...

И слышалось мне, как старуха моя с того света кричит, корит за глупость. Я же отвечал ей:

– Виновата ты, из-за тебя ведь я так поспешил!

Повздоривши вдоволь (это заняло по крайней мере часть пути), я попробовал себя и ее убедить, что тревога напрасна. Но поневоле назойливая мысль возвращалась, садилась, как муха, мне на нос; я видел ее беспрестанно; и холодный пот щекотал мне спину. Я шел быстрым шагом. Прошел полдороги и начал подниматься по длинному лесному склону, как увидел на косогоре кибитку, едущую мне навстречу, и в ней осельника Жожоха, который, узнав меня, остановился, поднял к небу кнут и вскричал:

– Мой бедный дружок!...

Это было как в брюхо пинок. Я замер, разинув рот, на краю дороги. Он продолжал:

– Куда ты спешишь?... Воротись-ка, Николка. Не иди ты в город, что толку? Горе одно. Все скошено, все сожжено. Ничего не осталось.

Каждое слово скотины мне надрывало нутро. Я попробовал было храбриться, проглотил я слюну, понатужился:

– Поди, я-то знаю давно.

– Так зачем же, – спросил он с досадой, – туда ты идешь?

Я отвечал:

– Взять обломки.

– Да я же тебе говорю, ничего не осталось, ну ничего, ни соломки.

– Жожох, не поверю: ужели же оба мои подмастерья и добрые соседи смотрели, как дом мой горел, не пытаясь извлечь из огня хоть что-нибудь, ради меня, по-братски...

– Несчастный! Соседи твои? Да ведь это они твой дом подожгли!

Тут я опешил. А он, торжествуя:

– Вот видишь, ты ничего и не знаешь!

Не хотелось мне сдаться. Но он, уверенный в том, что он первый о беде мне поведал, стал, довольный и сердобольный, мне про жареху рассказывать.

– Виновата чума, – говорил он. – Все они спятили с ума. И вольно же было господам городского совета, шеффенам, стряпчему нас покидать? Ушли пастухи! Овцы взбесились. А тут объявилась зараза в предместье Бевронском; стали кричать: “Сжигайте дома зачумленные!” Сказано – сделано. Ты был далек, вот и начали с твоего. Работали рьяно, всякий делал что мог: думали – это во имя общего блага. Ну и, конечно, друг друга задорили. Когда разрушать начинаешь, странное что-то творится. Хмелеешь, рубишь сплеча, нельзя перестать... Вспыхнул дом, и они стали кругом плясать. Это было безумье какое-то... Если б ты их увидел, ты, пожалуй бы, сам заплясал. Доски в твоей мастерской пылали, трещали... Словом, мой друг, все сгорело дотла!...

– Хотел бы я видеть. Верно, славное зрелище было, – сказал я.

И это я думал. Но думал я также: я убит! Они добились меня. Эти чувства я скрыл от Жожоха.

– Так, значит, тебе все равно? – Он спросил с недовольным видом. (Конечно, любил он меня и жалел; но порой мы не прочь – проклятое племя людское! – видеть соседа в слезах – хотя бы затем, чтобы иметь удовольствие его утешать.)

Я сказал:

– Жаль, что они с этим пышным пожаром не подождали до праздников.

Я двинулся.

– И ты все-таки в город идешь?

– Иду. Будь здоров, Жожох.

– Ну и чудак ты!

Подстегнул он лошадку.

Я шел или, верней, притворялся идущим, пока не исчезла повозка за поворотом. Десяти-то шагов я пройти бы не мог, мне ноги въезжали в живот; я сел с размаху на камень, как на горшок.

Проходили мгновенья – скверные были мгновенья. Не стоило больше бахвалиться. Я мог горевать, горевать сколько душе угодно. Я не лишил себя этого. Думал я: “Все я утратил, жилище и даже надежду построить себе новый дом, мои сбереженья, которые я накопил по капле медленным, сладким трудом, воспоминанья жизни моей, пропитавшие стены, тени былого, подобные светочам. И еще больше того, – я утратил свободу.

Куда же теперь я денусь? Придется мне поселиться у одного из детей моих. Я люблю их, еще бы; они любят меня, все так. Но я не дурак, я знаю, что всякая птица в своем гнезде оставаться должна, и старики стесняют юных, да и сами они стеснены. Каждый печется о яйцах, снесенных им же, и забывает о тех, из которых он вылупился. Старик, не желающий сдохнуть, докучает, как незванный гость, если при этом пристанет он к новому племени; тщетно стараешься быть незаметным; долг остальных – относиться к тебе с уважением. На кой черт – уважение! Вот причина всех зол: ты им не ровня. Я приложил все усилья к тому, чтобы дети мои не уважали слишком меня; как будто достиг я успеха; но что б ты ни делал и как бы они ни любили тебя, ты будешь всегда им казаться чужим: страны, откуда пришел ты, неведомы им, а сам ты не знаешь тех стран, куда они тянутся; так как же возможно друг друга понять? Ты им в обузу, и душно тебе, раздражает все это.. И к тому же (это больно сказать) человек, другими любимый, должен как можно меньше искушать любовь своих близких; какая б беда ни случилась, не надо от рода людского просить невозможного. У меня хорошие дети; вот и ладно. Они были бы лучше еще, если бы не приходилось к ним прибегать. Словом, у всякого гордость своя. Не люблю отнимать я у тех, которым я дал. Это как будто ты требуешь плату. Незаработанный хлеб застревает в горле; чудится тысяча глаз, примечающих каждый твой кус. Нет, я зависеть желаю только от друга-труда. Мне свобода нужна, хочу у себя быть хозяином, входить, выходить по воле своей.

Горе мне, старому! Хуже просить подаянье у близких, чем у прохожих просить. Первые принуждены тебе дать; никогда ты не знаешь, от всей ли души помогают они; и лучше в сто крат околеть, чем знать, что они стеснены”.

Так стонал я, мучился, чувствуя, что задеты душевная моя гордость, привязанности, личная свобода, все, что любил я (...воспоминанья прошлого, растаявшего как дым...), все, – и лучшее и худшее, что было во мне; и знал я, что волей-неволей, а придется мне, придется избрать самый горький путь. Сознаю, что я не разыгрывал бесстрастного мудреца. Я чувствовал себя жалким, словно дерево, которое подпилили бы по уровню земли, да и свалили. Но вот, сидя на камне своем, как на горшке, ища вокруг чего-нибудь, за что уцепиться, вдруг заметил я невдалеке полускрытые кудрявой листвой просади зубчатые башни

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru знакомого замка... И вспомнил я внезапно о всех тех красивых произведениях, которыми я за двадцать пять лет наполнил его, вспомнил я утварь, безделушки, резную лестницу, все то, что хозяин, добрый филберт, мне заказывал. Вот был чудак! Иногда он меня в бешенство приводил. Однажды, помнится, он вздумал заставить меня изваять его любовницу в уборах Евы, а себя в латах Адама, Адама разудалого, резвого, – после внушений змия. И в гербовой зале я, по прихоти его, должен был так изваять оленьи головы на щитах, чтобы они походили на благодушных рогачей наших краев! Смеху-то было! Но черту трудно угодить. Кончил одно, принимайся за другое... И деньги его видел я редко... Ничего! Он способен был любить прекрасное, будь это дерево или тело, и в обоих случаях он любил одинаково (так и следует: люби произведение искусства, как женщину, сладострастно, всей душой, всеми чувствами), и хотя он мне и не платил, скупец, зато спас он меня! Тут я дышу, там – я погиб. Дерево моего былого срублено; но плоды его остались; они защищены от огня и от стужи. И мне захотелось их повидать, облизать их как можно скорее, дабы снова почувствовать сладость жизни.

Вошел я в замок. Там хорошо меня знали. Хозяин отсутствовал; но под мнимым предлогом снять мерку для новых работ я направился туда, где я знал, что найду своих детей. Уже несколько лет я их не видел. Пока художник все еще чувствует крепость в хреслах, он творит и забывает о сотворенном. Впрочем, в последний раз, когда хотел я войти, хозяин мне путь загородил со странным смешком. Я подумал, что он прячет там потаскушку какую-нибудь, жену чужую; и, будучи уверен, что она – не моя, я не настаивал. И к тому же не стоит спорить с причудами этих дородных скотин... Челядь тамошня и не пытается понять господина: он-де слегка того...

Итак, я стал храбро подниматься по лестнице огромной. Но не сделал я и пяти шагов, как, подобно жене Лота, я замер, окаменел. Виноградные грозди, персиковые ветки, цветущие лианы, которые свивались вокруг перил резных, были искромсаны размашистыми ударами ножа. Я глазам не поверил, я охал ладонями бедных калек: почувствовал я под пальцами глубокие раны их. Застонав, задохнувшись, я взбежал очертя голову по ступеням: меня потрясло страшное предчувствие. Но то, что увидел я, превосходило всякое воображение.

В столовой, в зале гербовой, в опочивальне, у всех выпуклых истуканчиков на хоромном наряде были отрезаны у кого рука или голень, а не то – фиговый листок. На паузах баулов, вдоль чувалов, на длинных бедрах столбов узорчатых – зияли глубокие надписи, выкроенные ножом, – имя хозяина, какая-нибудь мысль дурацкая или же день и час этого геркулесова труда. В глубине просторного покоя моя тонкая, голая русалочка, опирающаяся коленом о шею львицы мохнатой, послужила мишенью: живот ее был пробит пищальными выстрелами. И везде, где попало, дыры и вырезы, отстроганные щепки, пятна чернил и вина, усы приклеенные или похабные шуточки... Словом, все то нелепое, что сукка, и одиночество, и дурость, и глупость могут внушить богатому болвану, который в замке своим уж не знает, что выдумать, и только и умеет, что разрушать. Будь он рядом, я, пожалуй, убил бы его. Я мычал, тужился. Долго не мог я говорить. Шея была багровая, и вздулись жилы на лбу. Вращал я глазами, как рак. Наконец двум-трем ругательствам удалось пройти. Пора!... Еще немножко, и я бы лопнул... Втулка выскочила, и уж я, братцы мои, ух как разошелся! В продолжение десяти минут я, дыханье не переводя, поминал всех богов и выблевывал свою злобу.

– Ах, пес, – кричал я, – для того ли привел я в берлогу твою моих дивных детей, чтоб ты мог их ломать, истязать, осквернять, растлевать!

Увы, мои кроткие крошки, рожденные в радости, думал я, будете вы моими наследниками, создал я вас здоровыми, крепкими, пухлыми, не было в вас недостатков телесных, вы созданы из дерева, живущего тысячу лет, – а ныне, о горе, искалечены вы, изуродованы – снизу, сверху, спереди, сзади, с кормы до носа, с погреба до чердака, покрыты ранами, как шайка старых грабителей по окончаньи похода! Неужели же я отец всех этих уродов!... Господи, внемли, позволь мне (тебе, быть может, молитва моя излишней покажется) не в твой рай идти после смерти, а в ад, где жарит Дьявол грешные души, – в ад, где буду я сам вертеть, вертеть на огне убийцу детей моих, на вертел его посадив, как на кол!

Пока я так плакал, ко мне подошел знакомый слуга, старый Антоша, и попросил меня перестать... Толкая меня к двери, добряк старался по пути утешить меня.

– Ну можно ли, – говорил он, – приходить в такое состоянье из-за кусков дерева?

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Что б ты сказал, если пришлось бы тебе, как нам, жить бок о бок с этим безумцем?
Пускай забавляется он (это и право его) досками, им же купленными. Хуже было бы,
если б он так поступал с честными людьми, со мной иль с тобой...

– Эх, – отвечал я, – пусть он дубасит тебя! Неужели ты думаешь, что я бы не согласился быть высеченным ради одного из этих кусков дерева, оживленного моими пальцами? Человек – ничто; творчество – вот что свято. Трижды преступен тот, кто убивает вымысел!...

Многое еще мог бы я сказать, и все с тем же красноречием; но увидел я, что слушатели мои ничего не поняли и что я казался Антоше не менее безумным, чем господин его. И когда я обернулся с порога, чтобы в последний раз обнять взором поле сраженья, смешная сторона положенья (вид моих бедных безносых богов и глупо-спокойные глаза Антоши, сочувствия полные, и я сам, дурень, сетующий, разглагольствующий один среди бревен) – вспыхнула передо мной; и, сразу забыв гнев свой и печаль, я расхохотался в лицо Антоше остолбеневшему – и был таков.

Я очутился опять на дороге. Я говорил:

– Уж теперь они взяли у меня все. Я гожусь в покойники. Осталась одна шкура... Да, но в ней, черт возьми, есть кое-что. Некий осажденный, отвечая тому, который угрожал, если не сдастся он, перебить всех его детей, сказал: “Как хочешь!... У меня здесь есть орудие для создания новых”. Так и я не всего еще лишен, одного у меня отнять они не могли. Мир – равнина бесплодная, но кое-где колосятся нивы, нами, художниками, взлелеянные. Твари земные и небесные клюют, жуют, топчут их. Не в силах творить, они только и делают, что разрушают. Грызите, губите, животные, попирайте мои колосья, – я взращу иные. Созрели ли они или зачахли, – что мне жатва? В лоне земли пухнут новые зерна. Я грядущее, а не прошедшее. И если настанет день, когда сила моя угаснет, отуманятся глаза и не будет у меня ни этих ноздрей мясистых, ни той бездны, в которую вино вливается, ни языка моего неугомонного, – когда у меня уже рук не будет, и ловкость пальцев и живая бодрость моя исчезнут, когда я буду очень стар, без жара в жилах, без здравого смысла... в тот день, Персик мой, меня не будет в живых. Нет, будьте покойны! Можете ли вы вообразить себе Персика, который бы не чувствовал, не творил, Персика, который не смеялся бы, не жил полной жизнью? Не можете, а не то – выскочил он из шкуры своей. Тогда сожгите ее. Оставляю вам свое лоскутье...

Продолжал я идти по направлению к Клямси. И вот, достигнув вершины холма (шел я поступью молодецкой, играя палкой; по правде сказать, я чувствовал себя уже утешенным), увидел я белокурого человечка, который плача бежал мне навстречу; это был Шутик, мой маленький подмастерье, мальчуган лет тринадцати; он, бывало, во время работы обращал больше внимания на мух порхающих, нежели на труд, и на дворе был чаще, чем дома; там попрыгивал он да косился на икры проходящих девиц. Я его, беспечного, угощал подзатыльниками день-деньской. Но он ловек был, как мартышка, пальцы его были так же хитры, как и он сам, работали искусно; и я любил, несмотря ни на что, его вечно разинутый рот, острые зубки, впалые щеки, лукавые глаза и вздернутый нос. Он это знал, нахал. Напрасно я кулак поднимал, громыхал: он видел смех в глазу у Юпитера. Получив удар, только встряхивался, равнодушный, как ослик, и потом начинал снова, лай не лай. Это был совершенный негодяй.

Поэтому я был немало удивлен, видя, что плачет он, как водометный тритон; крупные, грушевидные слезы вытекали, капали из глаз его, из носа. Вот бросается он ко мне, целует куда попало, воя и обливая слезами грудь мою. Я ничего не понимал.

– Эй, пусти, что с тобою. Пусти же меня. Нужно сморкаться, сопляк, раньше чем лезть целоваться.

Но вместо того, чтобы перестать, он, обхватив меня, соскальзывает, как по стволу сливному, к ногам моим и заливается пуще прежнего. Я начинаю тревожиться:

– Будет, будет, мальчишечка! вставай! что случилось?

Беру его за руки, поднимаю... гопки!... и вижу, что рука у него перевязана; кровь выступала сквозь тряпки, ресницы его были опалены, одежды изорваны. Я сказал (уже забыл я о своем горе):

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Проказник, что ты еще натворил?

Он простонал:

– Ох, хозяин, беда какая!

Посадил я его рядом с собой на откосе, спросил:

– Ответишь ли наконец?

Он воскликнул:

– Все сожжено.

И снова брызнули водопады слез. Тогда только я понял, что все это большое горе было из-за меня, из-за пожара, и несказанно тепло стало на сердце.

– Бедняжка, вот из-за чего ты плачешь!

Он сказал (показалось ему, что не понял я):

– Мастерская сгорела!

– Вестимое дело! Знаю я, знаю новость твою. За один час мне о ней уши прожужжали. Что же реветь? Беда как беда.

Он облегченно взглянул на меня. Но, видно, очень было ему грустно.

– Ты, значит, любил свою клетку, дрозд, мечтавший только, как бы вылететь из нее? Э, да я подозреваю, что ты сам, мошкара, плясал с другими вокруг костра? – (Я и первому слову не верил.)

Он с возмущением ответил:

– Это неправда, это неправда! Дрался я. Мы сделали все, что могли, чтобы огонь потушить, но было нас только двое. И конек, больной (это был мой другой подмастерье) соскочил с постели, хотя его и трясла горячка, и встал вместе со мной перед дверью. Поди ж, устой! Экие звери! Они налетели толпой, смели нас, сшибли, растоптали, смяли. Мы напрасно лягались, кулачились; они перешли через нас, как река, когда открыто творило. Конек на ноги встал, побежал за ними: они его чуть не убили. Я же, пока боролись они, шмыгнул в мастерскую горящую... Господи, что за огнище!... Там сразу все занялось, это было как светоч смоленный, который кажет язык свой белый и красный, свистящий, и в лицо плюется вам дымом да искрами. Плакал я, кашлял, уж тело мое начинало шипеть. “Шутик, сказал я себе, ты пойдешь на жаркое! Чего там, посмотрим еще!” Я разбежался и, как в Иванову ночь, прыгнул... скок! Штаны прожжены, поджарен бок... Падаю я в трескучую кучу щепок... Так! Подскочил, боднулся и растянулся, головой уткнувшись в верстак. Оглушило меня. Но очнулся я скоро. Слышал я, – пламя вокруг так и храпит, а на улице эти разбойники пляшут. Подняться пробую, падаю снова, ушибся я здорово; на четвереньки встаю и в пяти шагах вижу маленькую вашу святую Магдалину: огонь уже лизал ее тоненькое, голенькое тело, волосы распущенные на плечиках пухленьких...

“Стой!” – крикнул я и побежал, схватил, погасил ее чудные, вспыхнувшие ноги, прижал ее к сердцу; я уж не знаю, не знаю, что делал, целовал ее, плакал, шептал: радость моя, я держу, я держу тебя, нет, ты не бойся, я крепко держу, ты не сгоришь, даю тебе слово. И ты тоже должна мне помочь. Мы спасемся, милая... Дольше мешкать нельзя было... Грох!... рушится потолок. Невозможно вернуться тем же путем. Мы стояли у оконца круглого, выходящего на реку; пробиваю стекло кулаком, мы проходим насквозь, как через обруч: как раз места хватило. Я скатываюсь, я ныряю на дно Беврона. По счастью, дно от поверхности недалеко, и, так как жирно и мягко оно, Магдалина, упав, шишек себе не наделала. Я был менее счастлив: ее не выпустил я, я барахтался, в иле захлебывался. Выпил, наелся я больше, чем нужно. Словом, я вылез, вы видите нас. Хозяин, простите, что всего я не спас.

Развязав благоговейно свой узел, из свернутой куртки вытащил он Магдалину; ноги ее обгорели, но улыбались, как прежде, глаза невинно-задорные. Я так умилен был, что слезы (хоть я не рыдал ни над мертвой женой, ни над внучкой больной, ни над потерей добра и слепым избиением творений моих), слезы брызнули.

И, обнимая обоих, о третьем я вспомнил, спросил:

– А Конек?

Шутик ответил:

– С горя он помер.

На колени я встал, посреди дороги, землю поцеловал.

– Спасибо, мой сын.

И, взглянув на ребенка, слепок державшего в раненых сжатых руках, я сказал небесам, на него указав:

– Вот из работ моих самая лучшая: души, которые я изваял. Их не возьмут у меня. Дерево можете сжечь! Душа – навеки моя.

БУНТ

Конец августа

Когда прошло волнение, я сказал Шутику:

– Ну те-ка! Что сделано – сделано. Посмотрим, что остается сделать.

Я заставил его рассказать все, что в городе произошло за те две недели, пока я отсутствовал.

– Говори ясно и коротко, без лишней болтовни: что прошло, то прошло; главное, знать настоящее наше положение.

Я узнал, что над Клямси царят чума и страх, страх пуще чумы: ибо последняя, по-видимому, уже отправилась искать счастье в иных краях, уступив место разбойникам, которые, привлеченные запахом, поспешили вырвать у нее добычу. Они были хозяева положения. Сплавщики, проголодавшись и обезумев от страха заразы, не мешали им или же поступали так же. Законы онемели. Те, которые должны были их блюсти, рассеялись.

Из четырех наших шефенов один умер, двое бежало; стряпчий задал лататы. Начальник замка, старик смелый, но одержимый подагрой, однорукий, со вспухшими ногами и телячьими мозгами, достиг лишь того, что на шесть кусков разорвали его. Оставался последний шефен – Ракур; под напором этих вырвавшихся зверей он, вместо того чтобы их отбить, решил (из страха, из слабости, из хитрости), что благоразумнее будет им уступить; и к тому же он, не признаваясь себе в этом (я знаю его, я разгадал), норовил натравить свору поджигателей на тех, счастье которых злило его, или на тех, которым он хотел отомстить. Я понимал теперь, отчего дом мой избрали в первую голову!... Я спросил:

– А другие, мещане-то, что они поделывают?

– Бебекают, – отвечал Шутик, – они ведь овцы; ждут у себя, чтоб пришли их резать. Нет у них больше ни пастуха, ни собак.

– А я-то, Шутик, на что? Посмотришь-ка, дружок, остались ли у меня зубы. Пойду к ним, малыш.

– Хозяин, что может сделать один?

– Отчего же не попробовать...

– А коль мерзавцы эти поймают вас?

– Больше нет у меня ничего. Наплевать мне на них. Поди ж, причеши облысевшего дьявола!

Он заплясал:

– Весело-то как будет! Финти-фирюльки, люльки, пульты, тара-тарарусы, вот как, вот как!

И, на бегу вскинув обоженные руки, он перекувырнулся и чуть не растянулся на дороге. Я принял вид строгий.

– Эй, мартышка, – сказал я, – не дело этак вертеться, уцепившись хвостом за ветку! Стой! остепенимся... Надо слушаться.

Он слушал с горящими глазами.

– Ты не долго будешь смеяться. Вот: иду я один в Клямси, иду теперь же.

– А я! А я!

– Тебя же я посылаю в Дорнси предупредить господина Николу, нашего шеффена, человека осторожного, с добрым сердцем и с еще лучшими ногами, любящего себя нежней, чем сограждан своих, но больше себя самого любящего свое добро, – что завтра утром собираются пить его вино. Далее, склонив путь в Сардий, ты найдешь в голубятнике своем Василя Куртыгу, стряпчего, и передашь ему, что в Клямси дом его будет непременно сожжен, разграблен и прочее, если не вернется он до ночи. Он вернется. Вот и все. Ты сам найдешь, что сказать, и без уроков моих знаешь, как врать.

Мальчик почесал у себя за ухом:

– Трудность не в том. Не хочется мне вас покидать.

– Спрашиваю ли я тебя, что хочешь ты и чего не хочешь? Я хочу, я. Ты должен слушаться.

Он упорствовал. Я сказал:

– Будет!

И видя, что он, малыш, беспокоится о судьбе моей:

– Я тебе не запрещаю бежать бегом. Когда все исполнишь, ты сможешь меня нагнать. Лучший способ помочь мне – это подвести подкрепление.

– Я приведу их, – сказал он, – будут нестись они, Куртыга и Никола, сломя голову, обливаясь потом, задыхаясь; коль нужно будет, привяжу им к хвосту кастрюлю!

Он полетел как пуля, потом остановился опять.

– Хозяин, скажите мне толком, что хотите вы предпринять!

С важным, таинственным видом я отвечал:

– Я уже знаю! – (Душа вон, ничего я не знал!)

* * *

Вечером около восьми я прибыл в Клямси. Под золотыми облаками село красное солнце. Ночь только-только начиналась. Что за славная летняя ночь! Но некому было наслаждаться ею. Ни зевак, ни сторожей у городских ворот. Входишь как на пустую мельницу. На большой улице тощая кошка грызла корку; увидя меня, ошетинулась, потом улепетнула. Дома, зажмурясь, казали деревянные мертвые лица. Ни звука. Я подумал: “Все они умерли. Я пришел слишком поздно”.

Но вот почувял я, что за ставнями слушают уши звон шагов моих. Я стал стучать, кричать:

– Отворите!

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Дверь и не дрогнула. Подошел я к другому дому. Постучал снова ногой и дубиной.
Изнутри мне послышалось – будто шурк мышиный. Тогда я понял.

– Зарылись они, несчастные! Шут их дери, покусая им ляжки!

Кулаком, каблуком я стал барабанить по ставням книжной лавки:

– Эй, братец! Эй, Денис Сулой, сукин сын! Все раскатаю, коль не откроешь.
Открой, каплун, я – Николка Персик.

Тогда (как будто от прикосновения феиной волшебной палочки) все ставни растворились, и я увидел на подоконниках, по бокам улицы, словно ряды луковиц, растерянные лица, уставившиеся на меня. Они глядели, глядели, глядели... Я и не знал, что я так прекрасен; ощупал я себя. Расплылись сморщенные их черты. Они, казалось, довольны были.

“Добрые люди! Как любят они меня!” – подумал я, не признаваясь себе в том, что радость их была внушена моим успокоительным присутствием в сей час, на сем месте.

Тогда-то завелась беседа между Персиком и лукавцами. Все говорили сразу; и, один против всех, я держал ответ.

– Отколе? Что делал? Что видел? Что хочешь? Как мог ты войти? Где ты пролез?

– Стойте, стойте! Не горячитесь. Я рад заметить, что язык-то у вас остался, хоть душа ушла в пятки, а пятки – в землю вросли. Эй, что вы там делаете?
Выходите-ка, полезно вдыхать свежесть вечернюю. Штаны, что ли, украли у вас, что вы сидите дома?

Но вместо ответа они спросили:

– Персик, на улицах, пока шел ты сюда, кого ты встретил?

– Дураки, кого же я встретить мог, раз вы все взаперти?

– А буяны?

– Буяны?

– Они грабят, сжигают.

– Где же?

– В Беяне.

– Так пойдем задержать их! Что же вы притаились в курятне?

– Мы свой дом сторожим.

– Коль хотите свой дом оберечь, помогайте чужим.

– Мы в первую очередь, ибо спешим. Всякий свое добро защищает.

– Да, я знаю погудку: люблю я соседей своих, но нет мне дела до них. Слепцы! Вы играете на руку разбойникам. После соседей вы попадетесь. Каждый пройдет через это.

– Шеффен Ракун нам сказал, что лучшее в данном случае – притулиться до тех пор, пока порядок не будет восстановлен.

– Кем?

– Господином Невером.

– До тех пор немало воды протечет под мостами. Господин Невер занят своими делами. Когда он вспомнит о ваших, то будет уже поздно. Вперед, дети, вперед. Тот права на жизнь не имеет, кто ее защищать не умеет.

– Они вооружены, неисчислимы.

– Не так черен черт...

– У нас нет вождей.

– Будьте ими.

Они продолжали болтать, из того, из другого окна, как птицы на жердочке; пререкались они, но – ни с места. Я выходил из терпенья.

– До зари, что ли, вы заставите меня здесь простоять, посередине улицы, нос задирать, шею вывертывать? Я не пришел сюда затем, чтобы распевать у вас под окнами, пока вы там зубами щелкаете. То, что хочу вам сказать, спеть нельзя, и кричать о нем тоже не следует! Отворите! Отворите мне, ради Бога, а то подожду я всю улицу. Эй, выходите, самцы (коль еще таковые остались); довольно и кур, чтобы насест беречь.

Полусмеясь, полубранясь, одна приоткрывалась дверь, потом и другая; осторожно высунулся нос, потом и весь зверь, и как только вышел один, все, как овцы, последовали. Всяк норовил заглянуть мне в глаза.

– Ты вылечился?

– Здоров, как вода.

– И никто на тебя не напал?

– Никто, разве стадо гусей, шип пустивших мне вслед.

Увидя, что эта двойная беда с меня сошла, как с гуся вода, они свободней вздохнули и нежней полюбили меня.

Я сказал:

– Вглядитесь же: тело–то цело. Части все налицо. Нет, ни одной не пропало. Хотите очки мои?... Цыц, будет с вас. Завтра яснее увидите. Время не ждет, вперед, полно дурачиться. Где бы могли мы переговорить?

Гайно сказал:

– У меня в кузнице.

В кузнице у Гайна, где пахло копытом, где почва была лошадьми утоптана, мы скучились в ночи, как стадо.

Заперли двери. На полу мерцал огарок, и огромные, перегнутые тени наши плясали по своду, черному от копоти. Все молчали. И внезапно, все разом, заговорили. Гайно взял молот и ударил по наковальне. Звук этот прорвал гул голосов. Сквозь пройму вошла назад тишина. Я ею воспользовался:

– Пощадим легкие. Я уже знаю, в чем дело. Разбойники – у нас. Ладно! Выставим их.

Те сказали:

– Они слишком сильны. За них – сплавщики.

– Сплавщиков томит жажда. Им не нравится смотреть, как пьют другие. Я вполне понимаю их. Никогда не нужно искушать Бога, и тем более сплавщика. Раз вы допускаете грабеж, не удивляйтесь, что иной – будь он и не тать – может предпочитать, чтобы плод воровства был у него, а не у соседа в кармане. К тому же повсюду есть добрые и злые.

– Но ведь шеффен Ракун запрещает нам двигаться: в отсутствие остальных, наместника, стряпчего, надлежит ему оберегать город.

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Оберегает ли?

– Он говорит...

– Оберегает ли, да или нет?

– Стоит только взглянуть!

– Ну, так мы примемся за это.

– Шеффен Ракун обещал, что, если мы притулимся, нас пощадят. Бунт останется в пределах предместий.

– Откуда он это знает?

– Пришлось ему заключить с ними союз, вынужденный, насильный.

– Но ведь союз – это преступление!

– Этак-де лучше, проведу их.

– Кого ж он проведет, вас или их?

Гайно снова стукнул по наковальне (такая уж была у него привычка, он, так сказать, шлепал себе по ляжке) и сказал:

– Персик прав.

У всех был вид пристыженный, пугливый и злобный. Денис Сулой нос повесил:

– Если б все говорить, что думаешь, многое можно было бы рассказать.

– Что ж, говори, зачем молчать? Все мы здесь братья. Чего ж вы боитесь?

– Самые стены слышат.

– Ах, вот как! Ну-ка, Гайно, возьми-ка молот, стань-ка перед дверью, дружище... Первому, кто захочет войти или выйти, вдвинь череп в живот! Слышат ли стены или нет, клянусь я, ничего они не передадут. Ибо когда выйдем мы, то сразу же выполним решение, которое примем сейчас. А теперь говорите! Кто молчит, тот предатель.

Славный был гомон! Вся ненависть и страх затаенный так и хлынули. Они вопили, кулаки показывали.

– Он держит нас, лгун, мерзавец Ракун. Продал нас, Иуда, нас и добро наше. Что делать-то нам? Связаны мы по рукам. Все у него – сила, стража, закон...

Я спросил:

– Где скрывается он?

– В городской думе. Там он таится, ночью и днем, безопасности ради, и окружен толпой негодяев, которые блюдают его или, скорее, наблюдают за ним.

– Словом, он пленник! Ладно. Мы тотчас же пойдем освобождать его. Гайно, отвори дверь!

Они еще, казалось, не убеждены.

– За чем дело стало? Рассуждать не время.

Но Сулой сказал, почесывая темя:

– Шаг опасен. Драки мы не боимся. Но, Персик, в конце-то концов, права нет у нас. Человек этот – закон. Идти против него – значит брать на себя, как-никак, тяжелую...

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Я прервал:

– ...от-вет-ствен-ность? Что ж, я беру ее. Не беспокойся. Когда я вижу, Сулой, что подлец подличает, я начинаю с того, что его оглушаю; а уж потом спрашиваю, как зовут его, будь он стряпчий или Папа, все равно. Друзья, поступайте так же. Когда порядок в беспорядке, последний должен порядок восстановить и тем спасти закон.

Гайно сказал:

– Я с тобой.

Он шел, вскинув на плечо молот, согнув огромные руки (только четыре пальца на шуйце, указательный был оттяпан); одноглазый, смуглый, высокий, широкий – он походил на движущуюся башню. А за ним спешили остальные, под защитой его спины. Каждый побежал в лавочку свою взять пицаль, а не то секач или боек. И, признаться, я не могу поручиться, что вернулись все: иной остался у себя, не найдя (бедняга!) своих доспехов. По правде сказать, нас оставалось немного, когда достигли мы главной площади. Тем лучше: остатки сладки.

По счастью, дверь городской думы была открыта: пастух был так уверен в том, что овцы его, не бекая, дадут себя остричь, что, пообедав вкусно, он и его собаки спали крепким сном праведных. В приступе нашем, что и говорить, ничего геройского не было. Голыми руками взяли мы подлеца, из норки вытянули мы его, беспорточного, как зайца ободранного.

Ракун был жирен, с круглым розовым лицом, с мясистыми подушечками на лбу, над самыми глазами; вид у него был слащавый, не глупый, но и не добрый. Он это доказал на деле. С первых же мгновений он знал совершенно точно то, что ему угрожало. Только мелькнула молния страха и ярости в глазах его серых, закрытых под комочками век. Тотчас же он спохватился и властным голосом спросил нас, по какому праву мы хлынули в обитель закона.

Я сказал:

– Мы пришли, чтоб очистить твою кровать.

Он стал пуще негодовать. Тогда Сулой:

– Не время, Ракун, угрожать нам. Вы здесь обвиняемый. Послушаем-ка оправданье ваше. Начинайте.

Тот внезапно иную песенку затянул:

– Дорогие мои сограждане, я просто не понимаю, что вы от меня хотите. Кто жалуется? И на что? С опасностью для жизни не остался ли я, чтоб охранять вас? Все другие бежали, мне пришлось одному отбивать и воров, и чуму. В чем укоряют меня? Почему? Я ли виновен в беде, которую я же устранить стараюсь?

– Знаем, – сказал я, – знаем: усопшему мир, а лекарю пир. Ты, Ракун, врач, врун, откармливаешь крамолу, упитываешь чуму, а потом выжимаешь вымя обеим твоим скотинам. Соглашаешься ты с ворами. Поджигашь наши дома. Тех предаешь, которых ты должен хранить, тех направляешь, которых ты должен бить. Но скажи нам, изменник, из трусости или из скупости творишь ты эти дела? Что на шею подвесить тебе? Какую надпись? “Вот человек, продавший свой город за тридцать серебряников?” Тридцать серебряников? Что за счеты! Поднялись цены со времен Искарюта. А не то: “Вот старшина, который, желая шкуру спасти, пустил в оборот шкуры сограждан”.

Он опять пришел в ярость и сказал:

– Я поступил как нужно, это право мое. Все те дома, где харчевала чума, я сжег. Таков закон.

– И ты навещаешь заразу, ты отмечаешь крестом жилище всех тех, кто тебя называет врачом. “Кто хочет собаку свою утопить, говорит, что взбесилась она”. Но ты ведь позволил мятежникам грабить дома зачумленные? Так-то с чумой ты воюешь?

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

– Я не мог удержать их. Вам же лучше, если грабители эти потом околеют, как крысы. Двойной удар. Полная чистка!

– Ишь ты, – значит, ты с вором идешь на чуму, а с чумою на вора! И так, помаленьку, дойдешь до того, что останешься ты победителем в разрушенном городе! Я же говорил! Умер больной, и болезнь умерла, один только лекарь все здравствует... Полно, Ракур, мы с этого дня постараемся как-нибудь, друг, обойтись без твоих услуг, будем сами лечиться; но так как за всякую помощь должно заплатить, мы для тебя приготовили...

Гайно прогремел:

– Постель на погосте.

Это было как будто в свору кинули костью. Бросились все на добычу, с воем; и один закричал:

– Уложим младенца!

Младенец, по счастью, забился в куток, и, прислонившись к стене, бледный, смотрел он на морды, готовые цапнуть. Я удержал собак:

– Цыц! Дайте мне...

Они сделали стойку. Несчастный, затравленный, голодный, розовый, как жижка, дрожал от страха и от холода. Мне его жалко стало:

– Ну-ка, натяни порты! Достаточно мы любовались, дружок, твоим задом.

Смеялись друзья до упаду. Я воспользовался мигом затишья, чтобы их образумить. Зверь меж тем влезал в свою шкуру; зубы у него говорили, и взгляд был недобрый: чувствовал он, что опасность миновала. Он оделся и, уверенный в том, что еще не сегодня зайчишку затравят, приободрился и принялся нас поносить; он называл нас бунтовщиками и угрожал покарать нас за оскорбленье начальства.

Я сказал:

– Ты уж не начальство. Шеффен, тебя я свергаю.

Тогда-то обрушился он на меня. Желанье отомстить взяло верх над осторожностью. Он сказал, что знает меня насквозь, что я советами своими вскружил голову этим полоумным буянам, что на меня падет вся тяжесть их преступленья, что я негодяй. В своей ярости он резким, свистящим голосом ругал меня, вываливал за кучей кучу крепких словечек. Гайно спросил:

– Прикончить его, что ли?

Я сказал:

– Ты хитро сделал, Ракур, что меня разорил. Ты хорошо знаешь, что я не могу повесить тебя, не навлекая на себя подозренья: отомстил-де за соженье дома своего. Однако тебе, подлецу, пеньковый ошейник был бы к лицу. Но мы другим предоставим право тебя им украсить. Подождешь, с тебя не убудет. Главное то, что мы держим тебя. Ты ничто. Мы срываем с тебя твою пышную ризу. Мы отныне беремся за руль и за весла.

Он сказал:

– Персик, знаешь ли ты, что в ставку идет?

– Знаю, братец, – моя голова. И я ставлю ее. Коль проиграю – выигрыш городу.

Повели его в тюрьму. Он нашел в ней теплое местечко, недавно занятое старым сержантом, которого засадили за неисполнение его приказанья. Пристава и привратник городской думы теперь, когда дело сделано было, наш поступок одобрили, сказав, что они всегда думали, что Ракур – предатель. Не думай, а действуй!

* * *

До сих пор замысел наш исполнялся гладко – будто скользил рубанок по ровной доске, узлов не встречая. Это меня удивляло.

– Где же разбойники?

Вдруг пронесся крик:

– Пожар!

Вот оно что! Грабили они в другом месте. От запыхавшегося человека мы узнали, что они всей шайкой растаскивали склад Петра Пуляхи, жгли, били, пили, били-били-бом. Я сказал спутникам:

– Пойдем! Им скрипки нужны, чтобы плясать!

Мы побежали на Мирандолу. С вершины холма виден был нижний город, и оттуда, среди ночи, поднимался неистовый гул. На башне святого Мартына, задыхаясь, гремел набат.

– Друзья, придется спуститься, – сказал я, – туда, в этот ад. Жаркое будет дело. Все ли готовы? Да, ведь нужно вождя! Сулой, не избрать ли тебя?

– Нет, нет, нет, – залепетал он, отступая, – не хочу. С вас довольно того, что я в полночь по улицам принужден разгуливать с этим старым пукалом. Что нужно, выполню, но какой же я вождь? Прости, Господи, нет у меня своей воли...

Я спросил:

– Кто же возьмется?

Но те – ни гуту. Знал я их, молодцов! Говорить, ходить – это туда-сюда. Но вот действовать – тут уж беда. Привыкли они, мелюзга мещанская, с судьбою хитрить, колебаться, торгуясь, ощупывать сто раз подряд полотно на прилавке, а там, глядь, и случай прошел, и полотно полиняло! Случай проходит, я руку вытягиваю.

– Коль не хочет никто, что ж, я за это берусь, я!

Они воскликнули:

– Да будет так!

– Только должны вы слушаться меня, не рассуждая! Иначе – погибли мы. До утра я предводитель. Завтра – судите. Решено?

Отвечали все:

– Решено!

Мы по склону сошли. Я шел впереди. Слева шагал Гайно. Справа – Бардашка, городской глашатай, со своим барабаном. У входа в предместье, на площади, мы уже стали встречать необычайно веселые толпы, целые семьи, жены, мальчишки, девочки, которые по простоте душевной устремлялись туда, где грабили. Скажешь, праздник. Иная хозяйка захватила с собою корзинку, будто на рынок шла. Остановились они, чтобы полюбоваться нашим полком; и ряды их вежливо сторонились перед нами; они не понимали и слепо следовали сзади. Один из них, паричник Паршук, бумажный фонарь мне поднес под самый нос, узнал и сказал:

– А, Персик, друг сердечный, ты вернулся... Что ж – как раз!... Вместе выпьем.

– На все есть время, Паршук, – отвечал я. – Выпьем мы завтра.

– Ты стареешь, друг мой Николка. Пить можно всегда. Завтра вина уж не будет. Они разливают его. Скорей! Или, быть может, сентябрьская дань тебе стала противна теперь?

Перевод – Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Мне противно краденое.

– Краденое? Да нет – спасенное. Когда горит дом, нужно ведь быть дураком, чтоб оставить все лучшее в нем!

Я его отстранил:

– Вор!

И прошел.

– Вор! – повторили Гайно, Бардашка, Сулой, все остальные.

Прошли они. Тот был сражен; потом я услышал гневные крики его; и, обернувшись, увидел, что бежит он, кулак показывая. Мы притворились глухими, слепыми. Нас обогнав, он внезапно замолк и стал рядом шагать.

Достигнув берега Ионны, мы увидели, что по мосту невозможно пройти. Народ так и кишел. Я приказал бить в барабан. Ряды раздвинулись, не очень понимая, в чем дело. Мы вошли кабаном, но тут же застряли. Я увидел двух знакомых сплавщиков, короля Калабрийского и Гада. Они сказали мне:

– Стой, стой, господин Персик! На кой черт вы влезли сюда со своей телячьей шкурой и всеми этими ряжеными, важными, как ослы? Шутку ли шутите или впрямь в поход собрались?

– Ты угадал, Калабрия. Смотри, я до зари предводитель и иду город свой защищать от врагов.

– Враги? Что ты, с ума сошел! Кто же они?

– Да те, кто там поджигает.

– А тебе – то что? Твой дом ведь давно уж сожжен (сожалеем; это, знаешь, ошибка была). Но дом Пуляхи, этого повесы, разжиревшего на счет трудящихся, этого вертуна, гордящегося шерстью, которую он состриг с нашей спины, дом Пуляхи, оголившего нас, презиравшего нас с высоты своей добродетели, – это иная песенка. Обворовавший его попадет прямо в рай. Не мешай! Тебе – то что? Не хочешь – не грабь, но не смей нам мешать! Терять нечего, а выгоды – ух!

Я сказал (тяжело мне было бить этих жалких олухов, не постаравшись их сначала образумить):

– Нет, потерять можешь все, Калабрия. А вот честь нашу нужно спасти.

– Нашу честь! – сказал Гад. – Это что за диковина? Пьется ли? Жрется ли? Может, завтра помрешь. Что от тебя останется? Ничего не останется. Что о тебе будут думать? Ничего не подумают. Честь – гостинец для богатых, для скотин, которых хоронят с эпитафиями, мы же кучей будем свалены в общую яму, как помои. Поди разбери, что пахнет честью и что дерьмом!

Не ответив Гаду, я обратился к другу его:

– Всякий сам по себе ничто, это правда, король Калабрии; но все вместе взятые – сила. Сто малых составят большого. Когда исчезнут нынешние богачи, когда испепелятся, с их эпитафиями, ложь их гробниц да имя их рода, будут еще поминать сплавщиков города Клямси; они в летописях останутся, благородные по-своему, с руками жесткими, с головой крепкой, как их кулаки, и я не хочу, чтобы назвали их мерзавцами.

Гад сказал:

– Чхать мне на это.

Но король Калабрии, сплюнув, воскликнул:

– Коль так, ты подлец! Персик прав. Знать, что так говорят, меня бы тоже обидело. И, видит Бог, это не скажется. Честь не одно достоянье богатого. Мы ему

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
это докажем. Кто бы он ни был – он нас не стоит!

Гад сказал:

– Что там стесняться! Они-то стесняются разве? Не сыщешь больших обжор, чем все эти герцоги, принцы – Кондэ, Суассон и сам наш Невер, – которые, пузо набивши, как свиньи, еще натрескиваются до отвала золотом и, когда король умирает, растаскивают казну! Вот их честь, как они понимают ее! Право, мы были бы глупцами, если б не подражали им.

Король Калабрии выругался:

– Да, они – хрюки. Когда-нибудь добрый наш Генрих восстанет из гроба, чтобы взять их за горло, или ж сами мы их зажарим, набитых, подправленных золотом. Коли знать свинячится – в жилу ее пырнем, кровь пустим; но в их свинячестве мы подражать им не будем. Больше доблести в ляжке сплавщика, чем в сердце вора дородного.

– Итак, мой король, ты идешь?

– Иду; и вот те крест, Гад тоже пойдет.

– Нет, черт тя дери.

– Ты пойдешь, говорю, а то – реку видишь: я те бух, ты плюх: эй, шевелись. Посторонись, дурачье, я прохожу!...

Он прошел, расталкивая народ, и мы следом за ним плыли в зыби, как мелюзга за громадной рыбой. Встречные были слишком пьяны, чтобы с ними можно было рассуждать. Все в свое время: сперва языком, потом кулаком. Мы старались только их тихонько наземь посадить, не слишком их разрушая: пьянчуга – это святое!

Наконец мы очутились у дома Петра Пуляхи. В нем грабители кишели, словно вши в шерсти. Одни выволакивали сундуки, тюки; другие нарядились в тряпье наворованное; бесшабашные шутники кидали, смеху ради, чашки и горшки из окон. Посреди двора катали бочки. Я видел одного, который пил, присосавшись к дырке, пока не плюхнулся вверх тормашками, под красно бьющей струей. Вино выливалось в лужи, и тут же дети его лакали. Дабы лучше видеть, воры во дворе навалили гору утвари и подожгли ее. В глубине погребов слышно было, как бойки разбивали бочки, бочонки; доносились вопли, стоны, кашель задыхающихся: весь дом так кричал, как будто у него в брюхе было стадо хрюшек. И уже там и сям из отдушин возникали языки дыма да лизали решетки.

Мы проникли во двор. Ни один вор нас не заметил. Всякий занят был делом своим. Я сказал:

– Бей, барабан!

Затрещал Бардашка, провозгласил права, данные мне городом; и, в свою очередь голос возвысив, я приказал грабителям разойтись. Заслыша треск барабанный, они собрались, как мушиный рой, когда стукнешь по котелку. И только звук этот утих, все они начали вновь яростно жужжать и кинулись на нас, свища, гогойкая, осыпая нас камнями. Я принялся было ломать двери погреба; но из окошек они роняли черепицы и балки. Мы все же вошли, оттесняя этих мерзавцев. Гайну оторвало еще два пальца, а у короля Калабрии вытек левый глаз. Я же, отталкивая закрывающуюся дверь, застрял, как лиса в западне, угодив большим пальцем в щель. У, стерва! Я размяк, как женщина, чуть с души не скинуло. По счастью, заметил я пробитый бочонок водки; я окунул в него палец и всполоснул нутро. После чего, клянусь, мне уж не хотелось белки вывертывать. Но зато я тоже разъярился. Горчица в нос ударила.

Мы теперь боролись на ступеньках лестницы, ведущей в погреб. Пора было кончить. Эти рогатые черти разряжали в лицо нам пищали свои – так близко, что бородача Сулого вспыхнула. Гад задушил огонь в мозолистых своих руках. Добро, что у этих пьяниц в глазах двоилось, когда они целились; не то ни один из нас живым не вернулся бы. Нам пришлось отступить и засесть у входа. Тут я заметил лукавый огонь, скользкий с одного крыла на другое по направленью к внутреннему жилью, где находился погреб, и приказал заставить выход камнями, обломками разными,

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
образовавшими крепкую ограду; и над нею торчали наши копья и строги, подобно
колючей спине свернувшегося ежа.

– Разбойники, – крикнул я, – ах, так вы огонь любите! Ладно же, ешьте его!

Большинство пьяниц на дне погребов опасность поняло слишком поздно. Но когда чудовищное пламя растрескало стены и перегрызло бревна, со дна поднялась неистовая кутерьма; целый поток голяков (из коих некоторые уже пламенели) хлынул, как пенное вино, выбившее втулку. Первые шлепнулись об нашу стену, а следующие, прижавши их, плотно заткнули выход. Изнутри слышно было, как рычал огонь и скрежетали грешники. И могу вас уверить, что музыка эта не очень-то услаждала нас! Не весело слушать мычанья мучимой плоти. И будь я частным лицом, всегдашним Персиком, я воскликнул бы:

– Спасем их!

Но ратный вождь не имеет права слушать и чувствовать: глаз да разум, зренье да воля – вот главное. Действовать нужно безжалостно. Спасти негодяев значило бы город погубить: ибо по выходе они оказались бы многочисленнее и сильнее нас; созревшие для виселицы, они, однако, не дали бы себя сорвать с дерева.

– Осы – в гнезде; пусть они там и останутся!...

И я увидел, как оба крыла огня сближались и над средним жильем замыкались, свиристая и раскидывая вокруг себя летучие перышки дыма...

И вот в этот самый миг я заметил – над первыми рядами тех, которые скупились у входа в погреб и так слиплись, что могли шевелить только бровями, глазами да орать во все горло, – я заметил моего старого куманька, негодяя не злого, но пьющего (как он попал туда, Господи, в это осье?), который теперь смеялся и плакал, не понимающий, ошеломленный. Гультай, лентяй, заслужил он это! Но все-таки было невмочь мне смотреть, как он жарится... Мы детьми вместе играли и в храме святого Мартина вместе ели тело Господне: были мы братья по причастью первому...

Я отстранил рогатины, перепрыгнул через ограду, пошел по головам яростным (кусались они!), шагая по этому дымящемуся человеческому тесту, добрался до того места, где торчал Гамзун, которого схватил за шиворот.

“Дело дрянь! Как я его вытащу из этих тисков? – подумал я. – Придется, пожалуй, срубить его...”

По странной, счастливой случайности (я сказал бы, что есть Бог для пьянчуг, если б друг мой один был пьян), Гамзун оказался на краю ступеньки и клонился назад, когда те, которые поднимались, на плечи подхватили его таким образом, что он уж земли не касался, а наполовину выскочил, как косточка сливы, сжатая меж двух пальцев. Действуя ногами, чтобы раздвинуть справа и слева чужие плечи, защемившие ребра его, мне удалось, не без труда, вырвать кость из пасти толпы. Как раз успел! Огонь вихрем вздымался из отверстия лестницы, как из трубы. Я слышал – потрескивали тела в глубине печи, и, нагнувшись, широко шагая, не глядя, куда погружались подошвы мои, я воротился, волоча Гамзуна за жирные волосы.

Мы вышли из ада и удалились, предоставляя огню окончить дело свое. И меж тем, чтобы волнение свое задушить, мы тумачили Гамзуна, эту скотину, которая хоть и чуть не околела, удержала, прижав их к сердцу, два блюда эмалевых и миску расцвеченную, Бог весть где наворованные!... И Гамзун, отрезвившись, шел рыдая, раскидывая свои посудины, останавливался на ветру, выпуская крутую струю, и кричал:

– Все, что накрал, все отдаю!

На рассвете стряпчий, Василий Куртыга, прибыл в сопровождении шутика, который гнал вояку. Тридцать ратников да кучка вооруженных крестьян дополняли шествие. В продолжение дня пришли еще другие, которых привел Никола. На следующий день наш добрый герцог послал еще подкрепление. Они ошупали теплую золу, составили перечень повреждений, сосчитали убытки, прибавили к этому стоимость своего путешествия и – поминай как звали...

Смысл всего сказанного: “Помоги себе, король поможет тебе”.

КАК МЫ НАДУЛИ ГЕРЦОГА
Конец сентября

Восстановился порядок, пепел остыл, и о заразе никто уже не говорил. Но город сперва был как будто придавлен. Жители пережевывали свой ужас. Они почву ощупывали; не были еще уверены, стоят ли они на ней или она над ними находится. В большинстве случаев в норках таились, а если и выходили на улицу, то семенили вдоль стены, развесив уши и хвост поджав. Да что ж, нечем было гордиться; смотреть в глаза друг другу – и то не смели, и не радовало видеть лицо свое в зеркале: слишком хорошо осмотрели они друг друга, раскусили; человеческую природу застали врасплох, в одной рубашке, – вид неприятный! Они пристыжены были и недоверчивы. Я тоже, со своей стороны, неважно себя чувствовал: мысль об избиении, гарь пожара, а пуще всего воспоминанья о подлости, трусости, жестокости, обезобразившие знакомые лица, преследовали меня. Они это знали и втайне на меня досадовали. Понимаю: я был еще больше смущен; если б я мог, то сказал бы им: “Друзья, простите, я ничего не ведал...” И душное сентябрьское солнце тяготело над городом измученным – жар и застой последних летних дней.

Наш друг Ракун уехал под верной стражей в Невер, где герцог и король оспаривали друг у друга честь судить его, так что, пользуясь этим недоразумением, он, вероятно, рассчитывал проскользнуть у них меж пальцев, сквозь которые они, добрые люди, глядели на мои проступки. Оказывается, что, спасая Клямси, я совершил два или три крупных преступления, пахнувших каторгой. Но так как не случилось бы этого, если б не скрылись законные наши вожди, то ни я, ни они не стали настаивать. Не люблю на глазах правосудия проветривать шкуру свою. Вины за собой не чувствуешь – а как знать? Как пальцем попадешь в это чертовское колесо, прости, рука! Отрубай, отрубай, не мешкая, если не хочешь быть съеденным...

Итак, заключили мы молчаливое условие: я ничего не сделал, они ничего не видели, а то, что произошло в ту ночь под моим руководством, то было ими же совершено. Но как ни старайся, а сразу стереть прошлое нельзя. Вспоминаешь кое о чем, и вот совестно. Боялись меня: я читал это во всех глазах; и я боялся себя тоже, боялся того Персика незнакомого, нелепого, который такие совершил подвиги. К черту этого Цезаря, Аттилу, грозу эту! Грозы хмельные – это люблю. Но военные – нет, не мое это дело!... Словом, мы были пристыжены, телом разбитые и утомленные; ныло сердце, и ныло под ложечкой. С жаром мы за работу принялись вновь. Труд впитывает стыд и горести, как губка. Труд обновляет душу и кровь. Работы было много: сколько развалин повсюду! И тут нам пришла на подмогу – земля. Никогда не бывало такого обилья плодов, урожая такого; и под конец высшей наградой ее оказался сбор винограда. Можно было подумать, что матушка наша земля хотела вернуть нам вином всю кровь, поглощенную ею. Отчего бы так, в самом деле? Ничего не теряется; не должно потеряться. Если б терялось, куда же давалось оно? Вода льется с небес и туда же потом возвращается. Не так ли вино в сделках наших с землей нам за кровь отдается? Сок – то один. Я – лоза, или был я лозой, или ею когда-нибудь стану. Мне любо так думать; я хочу ею быть и не ведаю вечности лучшей, чем претвориться в лозу, в вертоград; тело мое разбухает и выливается в чудные, круглые, сочные ягоды, в черные, бархатно-нежные грозди, они раздуваются, лопаются в летних лучах, а потом (это слаще всего) их едят.

Как бы то ни было, сок винограда в этот год бил отовсюду, бил через край, земля истекала кровью. Глядь, и бочек уже не хватило; за недостатком сосудов пришлось виноград оставлять в давящем чане, а не то в стирной лохани, даже его не сжимая! Да что! Дивное диво случилось: старик Кулиман, не зная, как быть, продал излишек за тридцать копеек за бочку, с условием только, что сами пойдут виноград собирать. Посудите, каково было наше волнение! Можно ль смотреть хладнокровно, как Господа Бога теряется кровь!

Нечего делать, пришлось ее выпить! Мы собою пожертвовали, мы совестливые. Но был труд геркулесовый, и не раз Геркулес бухался наземь. Однако хорошо в деле этом было то, что перекарасились мысли наши; разошлись морщины, просветлели лица.

А все-таки какая-то горечь оставалась на дне стакана, осадок, вкус ила; мы чуждались друг друга; исподлобья следили. Правда, мы расхрабрились слегка (убив муху); но сосед соседа дичился еще; пил в одиночку, в одиночку смеялся: это

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
очень вредно... Так продолжалось бы долго, не видать было выхода; но судьба с хитрецей. Она умеет найти тот единственный потешный способ, который бы прочно людей связал, а именно: она нас сплочает против кого-нибудь. Любовь тоже соединяет. Но то, что из тысячи рук выливает единый кулак, – это враг. Кто же враг? – Господин наш!

Случилось, что в эту осень герцог Неверский вздумал нам запретить хороводы вести. Однако! Черт подери! Даже седые, хромые и те почувствовали в икрах мурашки. Как всегда, предметом спора был Голдовый луг. Это вечный тупик, не выйти никак. Этот прекрасный луг находится у подножья горы, у ворот городских, и близ него, как небрежно брошенный серп, серебрится Беврон излучистый. Вот уж триста лет, как его вырывают друг у дружки огромная пасть герцога и наша – более скромных размеров, но зато умеющая удержать схваченное. Впрочем, никакой вражды ни с той, ни с этой стороны; смеемся, соблюдаем вежливость, говорим: “Друг мой, други мои, повелитель наш...”

Но только поступаем мы по-своему, и ни мы, ни он не хотим уступить ни пяди земли. По правде сказать, в наших тяжбах мы никогда не одерживали верх. Суд окружной, суд местный, высшая ведомость – все выносили приговор за приговором, устанавливающие, что наш луг – не наш... Правосудие, как известно, – корыстное искусство называть черным то, что на вид белое; нас это не очень тревожило. Судиться – ничто, иметь – все. Бела ли корова или черна, оставь ее у себя, старина. Мы так и сделали; оставались на своем лугу. Так удобно! Подумайте! Это единственный луг, которым бы не владел только один из нас: принадлежа герцогу, он принадлежит нам всем. Посему мы, без всяких угрызений совести, можем портить его. И видит Бог, мы не стесняемся! Все, что нельзя делать дома, делаем мы там: работаем, чистим, выколачиваем тюфяки, выбиваем старые ковры, сорим, играем, гуляем, коз пасем, пляшем под скрипку, упражняемся в стрельбе из пищалей, бьем в барабан, а ночью любимся там, в траве, бумажками расцвеченной, на берегу шелестящего Беврона, которого ничем не удивить (видал он виды)!

Пока здравствовал герцог Людовик, все шло хорошо: он притворялся слепым. Это был человек, который умел, чтобы лучше держать в руках своих подданных, отпускать поводья. Пускай-де покажется им, что они на свободе, пускай накудесят они, все равно... на деле хозяин-то я! Но сын его, глупый гордец, который предпочитает казаться чем-то, нежели чем-нибудь быть (это понятно, он – ничто), и хватается за нож, как только икнешь. А нужно, однако, чтобы пел француз и смеялся над властью. Когда не смеется он, то восстает. Ему невтерпеж послушанье, если его господин во всем требует этого; смех нас равняет. Но этот птенчик вздумал нам запретить играть, плясать, топтать, портить траву на Голдовом лугу. В добрый час! После всех наших бед он нас лучше избавил бы от податей!... Да, но мы ему доказали, что жители Клямси не из дерева, годного для топки, а скорее из крепкого дуба, в который туго входит топор: врезавшись, он еще с большим трудом вырывается. Не пришлось друг друга под локоть подталкивать. Галдеж был отменный. Отбирают наш луг! Отбирают подарок, нам данный или который мы сами присвоили (все одно: добро украденное, но триста лет сохраненное, – трижды святое имущество вора), добро тем более для нас дорогое, что было нашим оно, а мы пядь за пядью упорством и долгим терпеньем его покорили, единственное добро, нам не стоившее ничего, кроме усилий забрать его! Этак опротиветь может даже и такое усилье! К чему жить тогда? Если б мы уступили, сами мертвые из могил возопили бы! Честь города всех нас объединила.

Вечером того же дня, когда бирюк с барабаном провозгласил роковое постановление (он словно сопровождал преступника на шибеницу), все люди с весом, предводители братств и общин, да палочки собрались на рыночной площади. Разумеется, и я там был, представлял я мою покровительницу, бабу Господню святую Анну. Насчет порядка действия мнения расходились; но что действовать нужно – на этом согласились все. Гайно и Калабрия были сторонники решительных мер: их замысел был – поджечь городские ворота, разбить ограды и стражников и начисто скосить луг. Но пекарь Флоридор и садовник Маклай – люди кроткие, мягкие, разумно стояли за то, чтобы продолжать войну на пергаменте: целомудренные воззвания и прошения, обращенные к герцогу (сопровожденные, вероятно, бесплатными произведениями природы – из сада и из печи). По счастью, нас было трое: я, Иван Бобыль да Евмений Пафура, которые равно не желали, дабы герцога образумить, как лизать, так пинать его в зад. Добродетель in media stat [Посередине стоит (лат.)]. Истый галл, когда хочет над людьми посмеяться, умеет это делать спокойно, открыто, не пуская в ход рук, а главное – ничего не платя. Мало что мстишь, надо еще позабавиться. Итак, вот что решили мы... Но должен ли я наперед рассказывать

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
вам славную шутку, которую я придумал? Нет, нет, это значило бы ее обезвкусить. Достаточно заметить, нам в честь, что эта великая двухнедельная тайна была всему городу известна и свято им хранима. И хоть начальная мысль и принадлежит мне (горжусь), однако всякий прибавил к ней украшение какое-нибудь, локон, ленту: таким образом, дитя оказалось хорошо обеспеченным; отцов было у него сколько угодно. Шеффены скромно, тайком, справлялись ежедневно о здоровье ребенка; и Деловой еженочно, скрывая нос под плащом, приходил для переговоров, разъяснял, как можно закон переступить, оказывая ему должное почтение, и торжественно вытаскивал из кармана какую-нибудь витьеватую записку по-латыни, которая прославляла герцога и наше послушанье, а вместе с тем могла выражать как раз обратное.

* * *

Наконец великий день наступил. На площади святого Мартина ждали мы, вожди и собратья, чисто выбритые, расфуфыренные, ровно расположившись вокруг наших жезлоносцев. Ждали шеффенов. Когда часы пробили десять, зазвонили все башенные колокола. Тотчас же на обоих концах площади двери городской думы и двери храма широко распахнулись и на обоих порогах показались (словно выпускные куклы часобоев) с одной стороны попы в белых рясах, с другой – шеффены, желтые и зеленые, как яблоки. Увидя друг друга, они через наши головы обменялись величавыми приветствиями. Потом спустились они на площадь: первым предшествовали расцвеченные служки, красные одежды и красные носы, вторым – пристава, увешанные всякой всячиной; и звенели их нагрудные цепи, подпрыгивали по мостовой их длинные палаши. Мы же стояли на краю площади, вдоль домов, образуя широкий круг; и власти, столпившиеся как раз посредине, олицетворяли пуп. Никто не опоздал, все были тут: приказные сутяги, подьячие, нотариусы, аптекари, знахари да врачи, тонкие знатоки мочи (у всякого свои причуды) – окружали голову и дряхлого архиерея, как священная стража из гусиных перьев и стеклянных спрысков. Из господ городского сословия не появился, кажется, только один: стряпчий – представитель герцога, однако честный гражданин, муж дочери одного из шеффенов. Узнав о задуманном и боясь высказывать свое мнение, он накануне разумно решил удалиться.

Довольно долго мы топтались на месте, кипя от нетерпенья. Площадь напоминала чан, в котором бродит сок виноградный. Что за радостный гул! Все смеялись, говорили, скрипки пиликали, собаки лаяли. Ждали... Кого? Терпенья! И вот она грядет, радость-то. Еще до появления ее рой голосов вылетает вперед и ее возвещает; и все шеи повертываются, как жестяные ветреницы при дуновеньи. Показалась из-за угла Рыночной улицы – и на плечах восьми дюжих парней ходуном заходила над толпой – пирамидальная деревянная постройка, – три неравных стола, поставленные один на другой, с ножками, пестрой тесьмой перевитыми, нарядные, в светлых шелковых штанишках, а на верхушке, под пышно расшитым балдахинном, с которого спадали потоки цветных лент, высилась завещанная статуя. Никто и не подумал удивиться: все были посвящены в тайну. Каждый, шапку сняв, поклонился ей; но мы, хитрые черти, смеялись в кулак. Как только сооруженье это выдвинулось на самую середку, между городским головой и архиереем, все общины с музыкой прошествовали, сперва обращаясь вокруг неподвижной оси, потом углубляясь в переулок, который, окаймляя портал храма, спускается к Бевронским воротам. Впереди, как и полагается, выступал святой Никола, король Калабрии, облаченный в ризу, с золотым солнцем, вытканым на спине; скажешь – пестрый жук. Держал он в черных, узловатых руках жезл, согнутый на концах, в виде той лады, с которой Никола благословил трех детишек, сидящих в плавучей лохани. Четверо старых моряков сопровождали его, неся четыре желтых свечи, толстых, как бедра, и крепких, как дубины, коими они готовы были действовать в случае надобности. И Калабрия, насупив брови и подняв к своему святому свой единственный глаз, шагал, широко раздвигая ноги и выпячивая остаток брюха.

Следовали товарищи Жестяного Горшка, сыновья святого Ильи, кожевники, слесари, тележники, кузнецы; им предшествовал Гайно, держа над головой в двупалой руке, словно в клещах, крест с резьбой на подножье, изображающей молот и наковальню. И гобои играли: “У короля Дагобера штаны наизнанку”.

За этими шли бондари, виноделы, поющие гимн вину и его святому – Викентию, который, стоя тычком на конце жезла, сжимал в одной руке кружку, в другой – сочную гроздь. Столяры, плотники, святой Иосиф и святая Анна, зять и теща, все люди с широкими глотками, следовали за святым покровителем кабаков, языком

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
пощелкивая и косясь на водку. Далее пекари, жирно убеленные мукой, на остроге
вздymали, как римское знамя, круглую булку в бледно-золотом венце.

После белых шли черные – сапожники смоленые; плясали они и хлопали летягами
вокруг своего святого. Наконец в виде сладкого – святой фиакр, весь в цветах.
Садовники, садовницы несли на носилках ворох гвоздик; на шляпах колебались
вереницы роз, в руках – заступы, грабли.

На их красных шелковых знаменах, зыблемых осенним ветром, изображен был сам
фиакр с голыми икрами: высоко подоткнув полы, он скрючил большой палец ноги на
ребре воткнутой лопаты.

Вслед тронулась занавешенная постройка. Девочки в белом семенили впереди и
мяукали песнопенья. Городской голова и трое шеффенов шли с обеих сторон, держась
за желуди лент, свисающих с балдахина. Сзади шествовал привратник, как петух,
выпятив грудь колесом; и архиерей, сопровождаемый двумя попами (один – длинный,
как день без хлеба, другой – плоский, как хлеб без дрожжей), напевал глубоким
басом каждые десять шагов обрывок молитвы, но не утомлял себя, давал петь другим
и спал на ходу, шевеля губами и сжав руки на брюхе.

Наконец толпище народа цельным куском катилось сзади, как тесто густое и мягкое,
как жирный поток. А мы были – творило.

Вышли мы из города. Прямо на луг отправились. Ветер кружил листья яворов. По
дороге полки их мчались на солнце. И медленная река увлекала их золотые латы. У
ворот три стражника и новый начальник замка притворились, что нас не хотят
пропустить. Но кроме последнего, только что прибывшего в город наш и все
принимающего за чистую монету (несчастный прибежал из замка сломя голову и
теперь яростно тарашил глаза), все мы, словно воришки на рынке, действовали по
согласенью. Все-таки побранились мы, потолкались: это входило в наш уговор, мы
играли честно; но очень было трудно смех удержать. Однако не следовало слишком
растягивать шутку: Калабрия и вправду начинал кипятиться; святой Никола на
кончике своего жезла становился угрожающим; и свечи так и тряслись в руках,
притягиваемые спинами стражников. Тогда голова выступил, снял колпак и крикнул:

– Шапки долой!

В тот же миг упала завеса, скрывающая статую под балдахином.

– Сторонись! Идет герцог!

Сразу шум затих. Святые Никола, Илья, Викентий, Иосиф и Анна – все в струнку
вытянулись; стражники и дебелий начальник, без шапки, растерянный, уступили
дорогу; и тогда выдвинулся, покачиваясь над носителями, увенчанный лаврами, в
ухарской шапке, со шпагой на брюхе – подобие герцога нашего. Надпись,
составленная Деловым, так нарекала его во всеуслышанье; но по правде сказать (и
это самое смешное), мы, не имея ни времени, ни средств придать сходство
портрету, просто-напросто взяли с чердака ратуши старую статую (так никто и не
знал, кого она изображала и кем была изваяна); на подножии можно было только
прочсть полустертое имя: Вальтазар). Но не все ли равно? Вера спасает.
Изображенья святых Ильи, Николы или Иисуса Христа – точны ли? Стоит только
верить, чтобы видеть во всем то, что хочешь видеть. Нужен бог? Для меня
достаточно, пожалуй, куска дерева, где бы мог я его поселить, его и веру мою.
Нужен был герцог в этот день. Мы его и нашли. Меж склоненных знамен прошествовал
он. Луг ему принадлежал, он на него и ступил. А мы все, отдавая ему должное,
сопровождали его; развевались знамена, трещали барабаны, гремели трубы, пели
попы. Что ж тут дурного? Один только холуй герцога, жалкая душонка, ни рыба ни
мясо, стоял в стороне, но и ему пришлось решиться. Он должен был либо задержать
герцога, либо присоединиться к его свите. Избрал он второе.

Все шло хорошо, как вдруг у самой цели дело чуть не рухнуло. При входе святой
Илья толкнул Николу, а святой Иосиф огрызнулся на свою тещу. Каждый пройти хотел
первым, не думая ни о возрасте, ни о вежливости. И так как в этот день все были
готовы к бою и настроены воинственно, руки у нас зачесались. По счастью, я,
преданный разом и святому Николе по имени, и святому Иосифу с Анной по ремеслу,
не говоря уже о молочном брате моем – святом Викентии, который виноград сосет, –
я, стоящий за всех святых, с условием, чтобы они стояли за меня, я приметил
телегу, нагруженную гроздьями багряными, и куманька моего Гамзуна, шатающегося

Перевод– Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
подле, и крикнул:

– Друзья? Главного–то и нет между нами. Поцелуемся! Вот тот, который всех нас объединит, наш единственный, наш хозяин (после герцога, конечно). Он грядет. Приветствуйте его! Да здравствует Вахх!

И, за ягодицы взяв моего Гамзуна, я взвалил его на телегу, и заскользил он, перекувыркнулся среди благодати раздавленного винограда. Потом схватил я поводи, и на Голдовный луг выехали мы первыми; Вахх, купая гузло в красном соку, дрыгал ногами и хохотал, увитый гроздьями. Все святые, все святые, за руки взявшись, плясали позади зада Вахха торжествующего. Славно было на траве! Там, вокруг доброго герцога, скакали мы, ели, играли, отдыхали день–деньской... И поутру луг был подобен свиному загону. Не осталось ни былинки. Подошвы наши отпечатались в нежной почве, и следы эти свидетельствовали об усердии, с которым город чествовал властителя своего. Он, верно, очень доволен был. Да и мы тоже, черт подери! По правде сказать, стряпчий, вернувшись на следующий день, нашел нужным возмутиться, укорять, угрожать. Угроз он не выполнил, нашли дурака! Да, но открыл он следствие; впрочем, он не закрыл его: полезнее оставлять двери открытыми. Никто не стремился что–либо найти.

* * *

Таким–то образом мы доказали, что граждане клямси могут быть покорными подданными герцога своего и короля и, одновременно, действовать в свою голову: она у нас дубовая. И это вернуло бодрость городу претерпелому. Мы себя чувствовали воскресшими. При встрече перемигивались, обнимались, думали: “Мы еще не выпотрошили свой мешок хитростей. Лучшего–то у нас не взяли. Все хорошо”.

И воспоминанье несчастий наших улетучилось.

ПОД ЧУЖИМ КРОВОМ

Наконец мне пришлось подумать и о жилище будущем. Я откладывал как можно дольше. Пятишься, чтобы дальше прыгнуть. С тех пор как дом мой испепелился, я кочевал, приваливая то здесь, то там. Очень многие мне охотно давали приют на одну, две ночи. Пока воспоминание об ужасе пережитом тяготело над всеми, собирались мы в стадо, и всякий чувствовал себя у чужих как дома. Но так не могло продолжаться долго. Опасность удалялась. Тело каждого вползало обратно в свою раковину. Но у тех не было тела, у тех – скорлупы. Не мог же я расположиться в харчевне! У меня четыре сына и дочь, люди степенные, они бы мне этого не позволили. Не то чтоб мои молодцы очень расчувствовались бы! Но что станет город говорить?... Однако они не спешили меня приютить. Я тоже не торопился. Моя откровенность слишком не ладит с их святостью. Кто уступит из двух? Бедные малые! Они были, как и я, в замешательстве. Но им повезло: славная Марфа моя вправду любит меня. Ты придешь, говорит, во что бы то ни стало... Да, но что скажет зять? Не очень–то хочет меня он принять, я вполне понимаю его.

И вот с этих пор все они стали за мной следить глазами сердитыми, исподтишка. А я избегал их; мне казалось, что старое тело мое продают с молотка.

Я поселился на время в лачужке своей среди виноградников. Там–то в июле (озорнишка ты мой!) шашни завел я с чумой. И вот что забавно: полоумные эти, ради общего блага, здоровый мой дом–то сожгли, а не тронули тот, в который смерть заглянула. Я–то ее не боюсь, безносой барыни этой, и потому был очень доволен найти лачужку свою, где валялись еще на полу земляном осколки предсмертного пира. Но не мог я себе не признаться, что в этой дыре зимовать мудрено. Разъехалась дверь, разбито окно, сыро, капает с крыши, как с полки для сыра. Но сегодня дождика нет, а завтра – о завтрашнем дне я успею подумать. Не люблю я ломать себе голову над сомнительным будущим. И когда не могу я удачно распутать вопроса, я его до конца недели откладываю. “К чему это? – мне говорят. – Все равно ведь придется тебе проглотить пилюлю”. – “И то, – отвечаю. – Но как знать, может быть, через восемь–то дней мир погибнет? Как мне будет досадно, что я поспешил, если тут загрямят трубы архангелов! Мой друг, ни на миг не откладывай счастья! Пьется оно в свежем виде. Но неприятные хлопоты могут пождать. Лопнет бутылка – тем лучше”.

Итак, стал я ждать, иль, вернее, заставил я ждать то решенье скучное, которое мне все равно пришлось бы назавтра принять. И чтобы ничто до тех пор меня не

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru тревожило, запер я дверь и загородился. Не тягостны были думы мои. Я копался в своем огороде, расчищал тропинки, прикрывал сеянцы под упавшими листьями, артишоки трепал, врачевал болячки старых деревьев пораненных – словом, расчесывал косы земли-сударушки пред тем, как свернется она под периной зимы. Потом, вознаграждая себя, я ощупывал щечки какой-нибудь маленькой груши рыжей или желто-рябой, забытой на ветке.. Господи! что за блаженство, когда набирается в рот и течет себе вниз, вдоль по глотке течет, душистый и сладостный сок!... Решался я в город идти только запасы свои обновлять (съестное, питье и новости). Избегал я встречаться с потомством своим. Я им сказал, что собираюсь в чужие края. Не ручаюсь, что мне они так и поверили; но, как послушные дети, они не посмели во лжи уличить меня. Мы словно в прятки играли, как те ребяташки, которые робко аукуют: “Волк, ты здесь?” – и долго еще мы могли бы игру продолжать, отвечая: “Волка здесь нет”. Но мы упустили из виду Марфу: коль женщина станет играть, не преминет она плутовать. Марфа знала меня; Марфа перехитрила отца своего. Не шутит она, когда дело касается кровных уз.

Как-то я вечерком выхожу на порог, глядь, она по дороге идет. Я вернулся в лачужку и заперся. Прижавшись к стене, не двигался я. Она подошла, постучалась, окликнула. Как листик завялый, я замер, дыханье тая (как назло, мне хотелось прокашляться). Она не сдавалась.

– Откроешь ли ты, наконец? Я знаю, ты там.

И кулаком, и башмаком она дверь колотила. Я же думал: “Ишь расходилась! Если сломается дверь, мне крепко достанется”. И я уж хотел отворить и Марфу расцеловать. Но это игру бы испортило. А когда я играю, всегда я выиграть хочу. Я упорствовал. Она еще покричала, потом плюнула. Я слышал уже, как шаги ее удалялись, шаги нерешительные. Тогда я вылез из норки своей и стал хохотать, хохотать и кашлять... Задышаться от хохота. Нахохотался я всласть, глаза вытирал, как вдруг за собой, с вершины стены услышал голос:

– И не стыдно тебе?

Я чуть не упал. Подпрыгнув, я обернулся и увидел: дочь моя на стене повисла и строго в глаза мне глядела.

– Старый шут, я поймала тебя.

Растерявшись, ответил я:

– Да, я попался.

И оба давай хохотать. Пристыженный, дверь я открыл. Она, словно Цезарь, вошла, встала передо мной и, взяв меня за бороду:

– Проси прощенья.

Я сказал:

– Mea culpa [Моя вина (лат.)].

(Это как на духу: знаешь, что завтра же снова начнешь.) Она все держала меня за бородку, бородушку и ее дергала да причитала:

– Стыдно! Стыдно! Седень, с таким белым хвостом на подбородке, а не умней сосуночка.

Дважды, трижды она, как звонарь, потянула ее, влево, вправо, вверх, вниз, потом по щекам потрепала меня и поцеловала:

– Что ж ты не шел ко мне, гадкий? Ты ведь знал, что я жду тебя!

– Дай мне, дочка, тебе объяснить.

– Объяснишь у меня. Ну-ка, пошел!

– Э! Стой! Я еще не готов. Дай мне вещи собрать.

Перевод– Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Вещи! Экая важность. Давай уложу их.

Она мне кинула на спину старый мой плащ, нахлобучила на голову мне поблекшую шляпу, перевязала меня, встряхнула.

– Вот и ладно! Теперь вперед!

– Обожди минутку, – сказал я. И сел на ступеньку.

– Как! – возмущенно воскликнула Марфа. – Ты упираешься? Ты не хочешь идти ко мне?

– Не упираюсь я, что там! Придется–то ведь все равно идти к тебе – некуда больше.

– Однако, любезен ты! Вот любовь твоя какова!

– Очень люблю я тебя, моя милая, очень люблю. Но я предпочитал бы видеть тебя у себя, чем себя у чужих.

– Я, значит, чужая!

– Ты половина чужого.

– Вот еще. Ни половина, ни четверть. Я целиком с головы до ног – я. Я жена его: это возможно! Но зато он – мой муж. Я исполняю желанья его, если он исполняет мои. Будь спокоен: он с радостью примет тебя. Посмел бы он быть недоволен!

– Верно вполне. Город наш тоже бывает ведь рад, когда герцог Неверский размещает у нас свой отряд. Приютил я немало солдат. Но я не привык быть на месте тех, которым дают приют.

– Привыкнешь. Не возражай. Пошел!

– Ладно. Но только условие.

– Условие уже? Быстро ты привыкаешь!

– Я сам себе выберу комнату.

– Хочешь ты быть самодуром, я вижу! Ну, уж ладно!

– По рукам.

– По рукам.

– И потом...

– Довольно, болтун. Пошел!

За руку она меня – цоп! Ну и хватка! Волей–неволей пришлось зашагать. Достигли дома, она показала мне комнату, мне предназначенную: уютную, с ней по соседству, за лавкой. Добрая Марфа со мной обращалась как с младенцем грудным. Постель была постлана: пуховка нежнейшая, свежие простыни. А на столе в стакане пучок цветущего вереска. Я смеялся в душе, умиленный, развеселенный; отблагодарить ее надо, подумал я себе. Уж тебя как помучаю, Марфинька... И объявил я сухо:

– Не подходит.

Она, досадуя, мне показала другие, нижние комнаты, – я качал головой и наконец, подметив каморку под самой крышей, сказал:

– Вот мой выбор.

Она на меня замахала руками, но я стоял на своем:

– Как хочешь, красавица. Бери, не бери. Комнатка эта мне нравится, в ней поселюсь либо назад возвращусь.

Ей пришлось уступить. Но с этих пор ежедневно и ежечасно она приставала ко мне:

– Ты не можешь здесь оставаться, внизу тебе будет удобней; что тебе не понравилось? Скажи, башка деревянная, отчего ты не хочешь там жить?

Я отвечал лукаво:

– Не хочу, вот и все.

– Ты сведешь меня в гроб! – кричала она в возмущенье. – А я знаю причину. Гордец! Гордец! Не хочешь ты быть должником у детей своих. Эх, избить бы тебя.

Я отвечал:

– Ты бы этим меня заставила принять от тебя хоть заушины.

– Сердца нет у тебя, вот что, – сказала она.

– Девонька...

– Да, юли... прочь лапы, урод.

– Моя умница, моя душенька, красавица ты моя.

– Ишь, набрал меду в рот, увивается! Лыстец, пустобай, обманщик! Долго ль ты будешь, скажи, мне смеяться в лицо, брыла свои выворачивать?

– Посмотри на меня... Ты смеешься ведь тоже.

– Нет.

– А смеешься ведь...

– Нет, нет, нет.

– Вижу я, вижу: смешки–то вот здесь.

И надавил я пальцем щеку ее, которая вздулась и лопнула.

– Как это глупо, – сказала она. – Мне обидно, я тебя ненавижу, а вот поди же, не могу я даже сердиться. Старая эта мартышка, как начнет корчить рожи, меня поневоле смешит! Да, я тебя ненавижу. Гольш, ни гроша за душой, а пред своими нос задирает! Скажи, по какому праву?

– У меня прав других нет.

Она мне сказала немало еще слов заостренных. И я ее попотчевал другими, не менее тонкими. У нас у обоих язык, как точильщик, проводит слова по вороницу. Благо, что в миг высшей злобы скажешь словечко смешное и хошь не хошь, а хохочешь. И начинай все сначала. Почесав язычок хорошенько (я давно уж не слушал ее), она примолкла.

– Теперь отдохнем, – сказал я, – завтра снова начнем.

– Спи спокойно. Итак, ты не хочешь?

Но я ни гу–гу.

– Гордец! Гордец! – повторила она.

– Послушай, голубушка. Да, я гордец, бахвал, павлин, все что хочешь. Но ответь мне по совести: будь ты на месте моем, ты бы как поступила?

Подумав, она ответила:

– Так же.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Ну, вот видишь! Теперь поцелуй меня. Спокойной ночи.

Она меня нехотя чмокнула и, уходя, бормотала:

– На кой черт подарило мне небо этих двух дурандасов?

– Так, так, – подхватил я, – поучай его, милая, не меня, а его.

– Так и будет, – сказала она. – Но и тебе достанется.

Мне и досталось. С утра она сызнова начала. Не знаю, что пришлось на долю неба, но моя доля была здоровенная.

В первые дни я был как сыр в масле. Все холили меня, баловали. Сам флоридор старался мне угодить и мне оказывал больше вниманья, чем нужно. Марфа следила за ним недоверчиво. Глаша меня угощала своей болтовней. Дали мне лучшее кресло. За столом подавали мне первому. Когда я говорил, все внимательно слушали. Было очень уютно... Ух! не выдержу... Мне было не по себе; и не мог усидеть я на месте; я сходил, поднимался по сто раз в час по чердачной лестнице. Всех это бесило. Марфа, безмолвная и раздраженная, так и вздрагивала, заслыша скрипучий мой шаг. Будь это летом, я бы по крайней мере баклуши бил на дворе. Я их бил, – но дома. Осень была ледяная; широкий туман занавесил поля, и дождик крапал, крапал ночью и днем. А я был к месту прикован. Да к тому же к месту чужому, черт их дери! У бедного флоридора чувство изящного не Бог весть какое, убого оно и жеманно; Марфа не замечает; а мне-то все в доме, утварь и мелочи, глаз раздражало; страдал я; хотелось мне все переделать и переставить по-своему, – руки так и чесались. Но хозяин на страже; если кончиком пальца только касался одной из вещей его, целая буря вздымалась. Главный мой враг был в столовой – кувшин, на котором представлены были два целующихся голубка и слащавая барышня рядом с пресным возлюбленным. От них мне претило; я просил флоридора хотя бы убрать эту вещь со стола, за которым я ел; куски застревали в горле, я задыхался. Но скотина (что ж, он был вправо) отказался. Он гордился своим миндальником. Для него это высшее было искусство. И мои ужимки сердитые только народ смешили.

Что поделаешь? Я правда смешон был: дуралей, да и только. Ночью я на постели вертелся, словно котлета, меж тем как на рашпере, то есть на крыше, дождь шипел безумолчно. И я не смел по чердачнику расхаживать: пол дрожал под моими шагами тяжелыми. И вот однажды, когда я сидел на кровати, болтая ногами голыми и сам с собою болтая, “Милый мой Персик, – сказал я себе, – не знаю как и не знаю когда – но дом я выстрою снова”. С этой минуты стало мне легче: я составлял заговор. Конечно, я скрыл от детей решение свое: они бы сказали, что в смысле жилища мне богадельня подходит как раз. Но где денег достать? Со времен Орфея и Амфеона камни уже не ведут хороводы, не строят, друг друга подсаживая, стены, дома, разве что только под песнь кошеля; мой-то давно утратил свой голосишко...

Я обратился за помощью к карману приятеля Ерника. Добряк, по правде сказать, не предлагал мне ее. Но если приятно мне у друга просить услуги, мне кажется, что и ему приятно мне услужить. Когда прояснилось немного, я отправился в путь, в Дорнси. Было небо низко и серо. Ветер влажный, усталый пролетал, как большая промокшая птица. К ногам прилипала земля, и желтые листья орешника реяли через поля.

С первых же слов Ерник прервал меня и, беспокойный, стал сетовать на отсутствие дел и денег, на худых клиентов; так он ныл, что сказал я:

– Ерник, что ж, я могу одолжить тебе грош.

Я был обижен. Он еще пуще. И друг на друга мы дулись, говорили мы холодно о том и о сем, – я разъяренный, он пристыженный. На скупость свою он досадовал. Бедный старик был не злой человек; любил он меня, разумеется; он с радостью дал бы мне денег, если бы это ему ничего не стоило; и даже, будь я настойчивей, получил бы я что хотел; не его вина, что он носит в себе девять колен жидоморов. Можно, конечно, быть и богатым и великодушным. Но истый мещанский достаточник, если мощну его тронешь, сперва-наперво “нет” говорит. Друг мой Ерник в эту минуту много бы дал, чтоб ответить мне: да; но я не упрашивал, в том-то и штука. Есть у меня своя гордость; когда о чем-либо друга прошу, он должен быть очень доволен; а если колеблется он, ничего мне не нужно, тем хуже тогда для него! И так, друг с другом говорили мы: голос сердитый, тяжелое сердце. Я отказался обедать (вконец

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
я его огорчил). Я встал, чтоб уйти. Повесив голову, он проводил меня до порога. Но перед тем, как дверь отворить, я не выдержал, обхватил я дряблую шею его и безмолвно поцеловал. Он отвечал мне тем же. Робко спросил он:

– Николка, Николка, хочешь?...

Но я:

– Забудем, – (упрям я).

– Николка, – повторил он жалким голосом, – отобедай хотя бы.

– Это дело другое, – сказал я. – Друг Ерник, за стол!

Мы ели за четверых, но я оставался каменным, не изменил я решенья. Знаю, что этим себя я наказывал. Но и он был наказан.

Я в Клямси воротился. Надлежало выстроить дом без работников и без денег. От этого дело не стало. То, что вбил я в башку, меня по ногам уж не свяжет! Я начал с того, что прилежно осмотрел место пожара, отбирая все, что могло впрок послужить: балки подгнившие, кирпичи подгоревшие, оковки старые; стены шатались, черные, как трубочисты. Потом тайком я пробрался в Шеврошки, в каменоломню, и помню, копал там, тесал, разбивал самую кость земли, – камень красивый, жаркого цвета, с багровыми жилами, словно обрызганный кровью. И даже возможно, что я, проходя по тропине лесной, помог какому-нибудь утомленному, старому дубу покой обрести. Это против закона? И то. Но если бы делать только то, что дозволено, жизнь была бы слишком трудна. Леса городу принадлежат, ими можно пользоваться. Всякий так поступает, тихонько, конечно. И не жадничаешь, говоришь себе: “После меня другие”. Взять-то легко. Еще нужно доставить. Благо соседи пришли мне на помощь; тот телегу свою одолжил, этот – волов, а иной саморучно помог, что ему стоило? Можно все попросить у ближнего, даже жену, все, кроме денег. Я понимаю: деньги – все то, что можешь иметь, что будешь иметь, что имел бы за деньги, все то, о чем ты мечтаешь; остальное имеешь: то есть нет у тебя ничего.

Холода уже наступили, когда я да Шутик начали ставить леса. Меня называли безумцем. Дети пилили меня день-деньской; а те, кто был посписходительней, мне советовали подождать до весны. Никого я не слушался. Страсть я люблю раздражать людей, королей... Я знал, дуралей, что сам-друг, да к тому же зимою не могу я жилище построить. Но мне достаточно было бы крыши, лачужки, кроличьей клетки. Я общежителен, да, но с условием быть таковым, когда я хочу, и не быть им, когда не желаю. Я болтлив, люблю я лясы точить, да; но порою мне хочется говорить в одиночестве: сам Персик лучший мой собеседник; и ради этого друга я бы отправился в путь босиком, без штанов, под вьюгой.

И вот почему продолжал я строить упорно, невзирая на общее мнение и смеясь над благим красноречьем чад своих...

Эх-ма! Последним смеялся не я... Как-то утром, в конце листопада (заиндевел город, и лоснилась на мостовой серебристая пена наледицы), я, в вышине, по бревнам карабкаясь, вдруг поскользнулся и – бух! – слез я скорее, чем влез.

Шутик вскричал:

– Он убит!

Подбежали ко мне и давай поднимать. Я на себя был сердит.

– Э, да что, – говорю, – я это сделал нарочно...

Попробовал встать. Ай! лодыга, лодыжка! Снова упал я. Лодыжка была переломлена. На носилках меня унесли. Рядом шла Марфа, руки ломая; и кумушки сопровождали меня, охая и о событье толкуя; все это напоминало святую картину: сын Божий в гробу. И Марии слез не щадили, суетились, кричали. Они разбудили бы мертвого. Мертвым я не был, но таковым притворялся, иначе свалилось бы все это на спину мне.

И, кроткий на вид, неподвижный, лицо запрокинув и вытянув бороду клином, я злобой кипел под казистой личиной.

ЧТЕНИЕ ПЛУТАРХА

Конец октября

Ну вот, теперь я привязан за лапку. За лапку! Господи Боже, неужто не мог ты сломать мне (если тебя это так забавляет) ребро или руку вместо подставок моих? Я не меньше бы ныл, но ныл бы я стоя. Ах, злой, ах, проклятый (да святится имя твое!). Он словно из сил выбивается, чтобы как-нибудь мне досадить. Он знает, что выше всех благ земных, работы, довольства, любви, дружбы ставлю ту, которую я покорил, дочь не богов, а людей – свободу. Вот почему он за ножку (ах, как смеется, лукавец!) держит меня в этой норке. На спине лежу я, как жук, и с вниманием гляжу на паутины, на балки чердачные. Вот она, воля-то!... Нет, ты еще не совсем, голубчик, держишь меня! Свяжи мою тушу, опутай, скрепи, окрути, вот так, еще раз, верти ты меня, верти, как на вертеле куру! Что, теперь держишь меня? А душу – забыл ты? Глядь, и полетела она вместе с воображеньем моим. Ищи ветра в поле! Надо быстрые ноги иметь, чтобы догнать ее... Воображение мое, ух, как несется! Ну-ка, беги за ним, друг мой!...

Должен признаться, что сперва я был зол, как черт. Язык у меня оставался, я им пользовался, чтоб ругаться. Не советовалось ко мне подходить в эти дни. Однако я знал, что бранить я мог только себя самого. Эх! Отлично я знал это. Все мои посетители уши мне прожужжали:

– Ведь говорили же тебе! Зачем тебе было по крышам разгуливать? Тебе, старику-то! Предупредили тебя, а ты в ус и не дул. Хочется, мол, порыскать. Вот и рыскай теперь! Поделом!

Хорошо утешенье! Когда ты пришиблен, друзья доказать тебе силятся, что в придачу еще ты дурак! Марфа, мой зять, приятели, люди с улицы – все утверждали то же. И я должен был выносить их укоры, неподвижный, пойманный и разъяренный. Даже Глаша – и та говорила:

– Ты не послушался, дедушка, и поделом!

Я метнул в нее ночным колпаком.

– Вон! Убирайтесь все вон!

С тех пор я один оставался, но веселее не было. Добрая Марфа настаивала, чтоб перенесли мой тюфяк в нижнюю комнату. Признаться, мне было бы это очень приятно; но если я говорю “нет”, значит, черт вас дери, нет! И к тому же несладко недужному людям показываться. Марфа без устали снова и снова на приступ шла, назойливая, как могут быть только мухи и женщины. Если б она не так много жужжала, я б уступил ей, пожалуй. Она была слишком упряма: согласись я – она бы с зари до заката победу свою разглашала. Прогнал я ее. И кончилось тем, что остался один я на грустном своем чердачишке. Не сетуй, Николка, ты сам виноват!...

Но главной причины, почему я артачился так, я не высказывал. Когда живешь у чужих, боишься стеснять их. Расчет этот плох, коли хочешь, чтоб они любили тебя. Нет глупости худшей, как заставить забыть себя... Меня и забыли. Не видели, не посещали меня. Даже Глаша мне изменила. Я слышал, как внизу смеялась она; и, слушая, сердце мое тоже смеялось. Но и вздыхал я: больно хотелось мне знать, что же ее рассмешило... Неблагодарная! Я укорял ее, но, верно, будь я на месте ее, поступал бы я так же... “Веселись, моя радость!” Только затем, чтобы мысли занять, я, изнуренный и хмурый, подражал Иову, который бранится, валяясь на вшивой шкуре.

И вот однажды Ерник пришел. Что таить, не очень радушно я принял его. Он стоял предо мной, у изножья кровати. Держал он благоговейно книгу завернутую. Он пытался разговор завести, предмет за предметом ощупывал. Я всем им свертывал шею, безгласно, безжалостно, с яростным видом. Он уже не знал, что сказать, покашливал да по грядке постели постукивал пальцами. Я просил его перестать. Тогда он замолк и шевелиться не смел. Я втайне смеялся. Я думал: “Эге, братец, теперь тебя мучит совесть. Если б ты деньги мне одолжил, когда я просил, не пришлось бы мне каменщика разыгрывать. Я себе ногу сломал: выкуси! Сам виноват! Скупость твоя загнала меня в эту дыру”. Не мог он вымолвить слова; я же старался держать язык за зубами, но терзался желаньем дать ему волю. Наконец я грянул:

– Говори же, ну, говори. Или ты думаешь, я умираю? Черта с два! Не приходят людей навещать, чтобы только молчать! Эй, говори или вон убирайся. Не верти ты глазами. Оставь эту книгу. Что это ты мнешь?

Бедняга привстал.

– Я вижу, Николка, что раздражаю тебя. Я уйду. Принес я книжицу – видишь, это Плутарх, “Жизнь знаменитых людей” перевел на французский Жак Амио. Мне казалось (он еще не совсем был уверен)... что, может быть, ты... (Господи! Как это было трудно) найдешь удовольствие, то есть, хочу я сказать, утешенье в обществе книжицы этой.

Я, зная, как этот старый скупяга, еще больше червонцев любящий книги свои, страдал (стоило только тронуть на полке одну из них, чтобы сразу принял он вид оскорбленный, словно влюбленный, который бы видел, что пьяный за груди схватил его милую), я умилен был величиим жертвы его. Я сказал:

– Старый товарищ мой, ты лучше меня, я скотина, я обидел тебя. Подойди же, дай поцелую.

Я обнял его. Взял из рук его книгу. Он еще отобрал бы ее с радостью.

– Ты будешь с ней обходиться бережно, да?

– Будь спокоен, – ответил я, – под голову положу.

Ушел он нехотя, еще не совсем убежденный.

* * *

И вот с глазу на глаз остался со мною Плутарх Херсонесский; небольшая пузатая книжка, поперек себя толще, тысяча триста страниц, частых и туго набитых; насыпаны были слова, как зерна в мешок. Я сказал себе: если три года подряд тройка ослов бы тут ела, – и то бы хватило.

Сперва забавлялся я тем, что разглядывал долго головки в витых, закрученных оправах в начале каждой главы, – лики великих людей в густых лавровых венках. Недоставало им только щепотки петрушки на самом носу. Я подумал: “Что мне до этих греков и римлян? Они умерли, умерли, а мы – мы живем. Что нового могут они рассказать мне? Что человек зверь презлой, но забавный, что вино чем старше, тем лучше – в отличие от женщины, и что во всякой стране большие трескают меньших, а эти над ними смеются. Все римские бахвалы на диво витийствуют. Я очень люблю красноречье, но предупреждаю, что они не одни будут баить; я им глотку заткну...”

Так поразмыслив, я снисходительно стал перелистывать книгу, в белые волны закинув рассеянный взгляд, будто удочку в реку. И сразу попался я, други... ах, други, улов же какой! Поплавок не успел прикоснуться к воде, как уже он тонул, и каких я не вытащил только волшебных карпов да щук! Рыб неведомых, рыб золотых и серебряных, радужных, бисером пестрым обрызганных и рассыпающих тысячи искр... И жили они, плясали, перегибались, прыгали, жабрами так и дышали, били хвостом! А я-то считал их за мертвых! С этого мига так я увлекся, что, рухни земля, не заметил бы я ничего: я следил за лесою: клюет ведь, клюет! Что за чудище выйдет из вод? И хлысь! Чудесная рыба летит на крючке, белобрюхая, в латах чешуйчатых, либо как колос зеленая, либо как слива лиловая и на солнце лоснящаяся!

Дни, проведенные так (дни иль недели?), жемчужины жизни моей. Да святится моя хромота!

И вас я благословляю, мои глаза: через вас просочилось в меня виденье волшебное, скрытое в книгах! Глаза ведуна, которые могут из кружева знаков жирных и частых, чье темное стадо бредет между белесых полей по страницам, вызвать погибшие войска, сгоревшие грады, римлян речистых, ратников рьяных, героев, красавиц, ведущих их за нос, и ветер свободный в степях, озаренное море, и небо Востока, и все голубое бывшее!...

Предо мною являются: Цезарь, бледный, хилый и тонкий, распростертый на пышных

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru носилках, среди дряхлых, ворчливых солдат; и брюхоня Антоний, который плетется полями со своими походными кухнями, девками, чашами всякими, чтобы жором жрать, пировать на опушке роши зеленой; Антоний, который съедает за ужином восемь кабанов зажаренных и выуживает старую рыбу соленую; и Помпей рассудительный, флорой ужаленный; и Полеоркет в своей шляпе широкой, в плаще золоченом, украшенном шаром земным и кругами небесными; и великий Артаксеркс, царящий, как бык, над стадом белым и черным своих многочисленных жен; и Александр прекрасный, наряженный Вакхом, на высоком помосте, влекомый восьмеркой коней; Александр на высоком помосте, покрытом свежей листвой да коврами багряными, из Индии едущий вспять под звуки скрипок, дудок, гобоев; и его воеводы веселые с цветами на шляпах, и войско его позади охмелевшее, и толпы женщин, по-козьему скачущих... Не чудо ли это? Клеопатра – царица, свирельница Ламиа и Статира, такая прекрасная, что больно смотреть на нее, – они все мои; под носом Антония иль Артаксеркса наслаждаюсь я ими, владею, вхожу в Экбатан, пирую с Таисой, ложе с Роксаной делю, уношу на шею, в связке тряпья, закутанную Клеопатру.

С Антиохом, давно в Стратонису влюбленным, страстно, стыдливо пылаю любовью к теще своей; уничтожаю (дивное диво!) галлов, прихожу, гляжу, побеждаю, и все это (как славно!) без капли пролитой крови.

Я богат. Каждый рассказ – каравелла, везущая мне из Берберии или из Индии золото, медь, старые вина в мехах, чудесных зверей, полоненных рабов... эх, молодцы! Что у них за грудище! Что за спина! Все это мое, мое... Царства жили, росли и умирали ради моей забавы.

Экое ряженье! Я надеваю одну за другою личины героев. Влезаю в их шкуру, пригоняю их члены, их страсти и пляшу. Одновременно и плясун, и песенник, я сам добрый Плутарх, да, да, это я записал (удачно, не правда ли?) все эти шуточки... Как любо чувствовать музыку слов и круговую их пляску, тебя уносящие вдаль, и летишь ты со смехом и плеском, свободный от уз телесных, страданий, старости!... Дух человеческий – это ведь Бог! Слава Святому Духу!

Порой, прерывая чтение, я стараюсь представить себе продолжение, и потом я сличаю творенье грезы моей с тем, что искусство иль жизнь изваяли. Когда это дело искусства, я часто решаю задачу: ибо старый я лис, все я знаю уловки, и, смекнув, я смеюсь про себя. Но когда расчудачится жизнь, тогда ошибаюсь я часто. Перелукавить нас ей нипочем, и нам не под стать ее вымыслы. Ах, шалая кумушка!... Одно только она никогда не считает нужным менять: окончанье рассказа. Войны, любовь, дурачества – все кончается тем же нырком в глубину беспросветную. Тут она повторяется. Так ребенок чудачливый ломает игрушки, ему надоевшие. Я сержусь, я кричу: гадкий, жестокий, стой, стой, оставь их мне!... Поздно! он все перебил...

И со странной усладой лелею, как Глаша, остатки куклы. И эта смерть, возвращаясь после каждого круга стрелки, словно бой часовой, принимает, звуча, красоту перезвона. Гудите, колокола, колокольца, бом, бом, бом!...

“Я – Кир, покоривший Азию, царь персиян, и прошу тебя, друг мой, меня не корить за ту горстку земли, под которой сокрыто бедное тело мое”.

Читаю я эту надгробную надпись, и читает со мной Александр, и дрожит он всем телом, чувствуя тленность свою, ибо мнится ему, что он сам из могилы взывает. О, Кир, Александр, как ясно я вижу вас ныне, что умерли вы!

Наяву ли, во сне ли их вижу? Щиплю себя, говорю: “Эй, Николка, ты спишь?” Тогда со столика рядом с постелью беру две монеты (я их в саду откопал прошлым летом): на одной Коммодус косматый, на другой Криспина Августа, с жирным двойным подбородком, с хищным клювом: “нет, не сплю я, глаза мои зорко раскрыты, я Рим на ладони держу”.

Как приятно теряться в догадках о зле и добре, спорить с самим же собой, ставить ребром мировые вопросы, мечом разрешенные встарь, переходить Рубикон... нет, на краю оставаться... пройдем, не пройдем? – драться то с Брутом, то с Цезарем, с ним соглашаться, ему же перечить красноречиво и после запутаться так, что уж больше не знаешь, за что ты стоишь! Это-то вот и забавно: с намерением твердым речь начинаешь, доказываешь, вот-вот и докажешь, возражаешь, – на тебе! Грудью берешь, горячишься, ну, брат, держись! А в конце-то концов попадаешь впросак! Сбить с ног себя самого! Поразительно. А все виноват плут Плутарх. Как начнет он

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru слова золотить да повторять добродушно “мой друг”, – всегда, всегда, согласишься ты с ним; меняет он мненье свое с каждым новым рассказом. Словом, из всех героев его мой любимый – последний в последней главе. Все они, впрочем, как мы, покорны все той же богине, к ее колеснице привязаны...

Победы Помпея, бледнеете вы! Миром правит она, Фортуна, чье колесо вертится, вертится и никогда “не бывает в состоянии недвижимом, в чем подобна луне”, как говорит у Софокла рогач Менелай. И это скорей утешительно – по крайней мере для тех, кто находится в первой четверти.

Порой я себе говорю: “Но, Персик, мой друг, на кой черт ты читаешь все это? Что тебе римская слава? И тем паче – безумства царей-шелобаев? Довольствуйся шалью своей, она тебе впору. Видно, нечего делать тебе, что копаешься ты в пороках, в страданиях людей, со смерти которых прошло восемнадцать веков. Ведь, братец, в конце-то концов (то бубнит Персик разумный, трезвый, толковый, расчетливый, знающий цену деньгам и себе), признайся, что этот твой Цезарь, Антоний и Клео, их сука, твои все вельможи восточные, которые режут своих сыновей, а дочерей себе в жены берут, – все они, друг мой, мерзавцы. Они умерли; в жизни своей творили они только зло. Не тревожь их праха. Как могут тебя, старика, забавлять такие нелепицы? Взять хотя бы твоего Александра; неужто тебе не противно смотреть, как он тратит, ради похорон Ефестиона, ради красавца такого, – сокровища целой страны? Резать так резать: племя людское – не Бог вещь какое. Но деньгами сорить! Видно, этим шутам достались они без труда. И тебе это нравится, да? Ты пучишь глаза, ты счастлив и горд, как будто все эти червонцы из рук твоих выпали! Если бы выпали вправду, я безумным бы назвал тебя. Ты безумен вдвойне, коль находишь отраду в безумствах чужих”.

Я отвечаю: “Персик, слова твои – золото: прав ты всегда. Однако дороже мне жизни вся эта белиберда; и клянусь я – в призраках этих, давно бестелесных, крови-то будет побольше, чем в людях живых. Я их знаю, я их люблю.

Чтобы он, Александр, надо мною рыдал, как над Клитом, я б сейчас согласился быть также убитым. У меня сжимается сердце, когда я вижу, как Цезарь в сенате мечется под остриями кинжалов, словно затравленный зверь между псов и охотников. Я стою с разинутым ртом, когда Клеопатра мимо плывет на своем корабле золотом с толпой nereid среди снастей, с ватагою крошечных, голых пажей. И, ноздри расширяя, морские ловлю благовония. Плачу я ревмя, когда Антония окровавленного, полумертвого, связанного, втаскивает возлюбленная: она, наклонясь из оконца башни своей, тянет изо всех сил (только бы, только бы он не сорвался), тянет беднягу, к ней протянувшего руки...

Что же волнует меня и с ними роднит? Э, да они из той же семьи, как и я, они – человек.

Как я жалею тех обездоленных, которым неведома сладость, таимая в книгах! Иные гордо плюют на былое и настоящего держатся. Дубины, не видите вы дальше носа! Да, настоящее вкусно. Но все вкусно, черт подери, я харчую у всех и не хмурюсь перед накрытым столом. Вы бы не хаяли, если б отведать, могли, – разве что, други, желудок у вас плоховат. Обнимайте что держите, да, но ведь вы обнимаете слабо и милая ваша – худа. Благо в количестве малом, – очень ведь мало. Нужно мне больше... Настоящим довольствоваться можно было, друзья, во время Адама седого, который ходил нагишом, за наименьшем одежд, и, ничего не выдав, только мог и любить что свою половину. Но мы, счастье имевшие после него родиться, в доме, куда наши предки свалили все то, что собрали, мы были бы очень глупы, коль сожгли бы житницы наши под предлогом, что нивы еще плодородны!

Старый Адам был только ребенок! Я сам – старый Адам: ибо все тот же я человек, но я вырос с тех пор. Дерево – то же, но я только более высокая ветвь. Всякий удар, поражающий сук отдаленный, листья мои сотрясает. Горести, радости мира – мои. Скорблю я с рыдающим, смеюсь с ликующим. Лучше, чем в жизни, я чувствую в книгах своих братство, которое всех нас связует, всех – голышей и царей: ибо от тех и других остается лишь пепел да пламень их духа, который восходит единый и многоликий, и в небе его языки багряные, неисчислимые поют, прославляя Всесильного”.

* * *

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Так на своем чердаке я мечтаю. Ветер гаснет. Спадает свет. Кончиком крыльев снег чуть касается стекол оконных. Крадется тень. В глазах туманится. Я наклоняюсь над книгой, слежу я рассказ, убегающий в ночь. Тыкаю носом в бумагу: точно гончая, чую я дух человечества. Ночь приближается. Ночь опустилась. Добыча моя ускользает и углубляется в чашу. Тогда замираю я в сумраке леса и с бьющимся сердцем, погоней взволнованный, слушаю тающий шорох. Закрываю глаза, чтобы лучше видеть сквозь мрак. И, мечтая, недвижно лежу.

Я не сплю, разбираю мысли свои; вижу я небо в квадрате окошка. Рукой достаю до стекла; вижу я черный, лоснящийся купол: каплю крови стекает звезда... Еще и еще... Дождь огневой в ноябрьской ночи...

Я вспоминаю звезду хвостатую Цезаря. Это, быть может, течет его кровь в темноте...

День возвращается. Грежу еще. Воскресенье. Колокола распевают. Грезу мою опьяняет их гул и гуденье. Она наполняет весь дом, от подвала до крыши. Она покрывает заметами книгу бедного Ерника. Моя комната ходит от грома колес, колесниц, ратных сонмищ, грохота меди и конницы. Дрожат половицы, оконницы, звон в ушах у меня, сердце лопнет сейчас, я готов закричать: "Ave, Цезарь, гряди, император!"

А мой зять – Флоридор, вошедший со мной поздороваться, смотрит в окно, шумно зевает и хмурится:

– Ни пса нет сегодня на улице!

ЗА ЗДОРОВЬЕ ПЕРСИКА
Святой Мартын

11 ноября

Сегодня с утра теплынь стояла необычайная. Блуждала она по воздуху, нежная, как прикосновенье шелковое. Терлась она о прохожих, словно ласковая кошка; вливалась в окно, как сладкое, золотое вино. Небо разомкнуло свои облачные вежды и спокойными бледно-голубыми глазами смотрело на меня; и на крыше соседней смеялся луч белокурого солнца.

Я, глупый старик, чувствовал себя томным и мечтательным, как юноша (я отказался стареть, возвращаюсь против теченья лет: еще немножко, и стану совсем крошкой). Итак, сердце мое было полно сказочного ожиданья, как сердце пастушка, что, бекая, бежит за своей пастушкой. Я на все глядел с умилением. Не причинил бы я вреда в этот день даже мухе. И уже пуст был мой ларчик лукавств.

Я думал, что я один, но вдруг увидел я Марфу, сидящую поодаль; я и не заметил, как она вошла. Против обыкновенья, ничего она мне не сказала, расположилась в уголку с работой в руках и на меня не глядела. Я же ощущал потребность поделиться с другими тем чувством полного довольства, которое меня охватило. И сказал я наудачу (чтобы беседу завязать, всякий предмет хорош):

– Что это утром в колокола зазвонили?

Она пожала плечами и отвечала:

– Да ведь праздник – святой Мартын.

Я с облаков скатился. Замечтавшись, я и позабыл о боге города своего!

– Вот оно что! Святой Мартын...

И почудилось мне тут же, что среди толпы молодчиков и молодух Плутарховских появляется мой старый друг (он им под стать), появляется он, всадник с саблей, режущей плащ. Ах, Мартын, Мартышка, мой старый кум, неужто забыл я тебя!

– Ты удивляешься! – сказала Марфа. – Пора! Ты все забываешь – Господа Бога, семью, чертей и святых. Мартышку и Марфиньку, весь мир ради этих твоих проклятых книжищ!

Перевод – Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Я смеюсь, я давно заметил нехороший взгляд ее, когда, входя ко мне утром, она видела, что я делю ложе с Плутархом. Никогда женщина не любит книг любовью бескорыстной. Она видит в них то любовников, то соперниц. Девушка ли она или жена, когда читает она, то грезит любовью и обманывает нас. Посему, застав нас за книжкой, они вопиют: измена.

– Виноват Мартын, – отвечал я, – он больше не появляется. Однако осталась у него половина плаща. Он хранит ее, это невеликодушно. Милая дочь, что поделаешь? В жизни не следует давать себя забыть. Кто так поступает, того забывают. Запомни этот урок.

– Я в нем не нуждаюсь, – сказала она. – Где бы я ни была, все знают, где я.

– Правда, видят тебя ясно, еще яснее – слышат. Сегодня исключенье. Отчего ты лишила меня укоров своих обычных? Мне их недостает. Ну-ка...

Но она не глядя:

– Ничем тебя не проймешь. Вот я и молчу.

С упрямым лицом, закусывая нитку, она шила; вид у нее был грустный и пришибленный; и победа моя была мне в тягость. Я сказал:

– Приди же поцеловать меня, по крайней мере. Хоть я и забыл Мартына, Марфу помню еще. Сегодня праздник твой, подойди же, есть у меня для тебя подарок. Приди взять его.

Она брови насупила:

– Злостный шутник!

– Да я не шучу, подойди, подойди же, сама увидишь.

– Мне недосуг.

– О, дочь извращенная, как, нет у тебя времени меня поцеловать?

Нехотя встала она, недоверчиво приблизилась.

– Какую шутку бесстыжую ты еще выкинешь?

Протянул я руки:

– Дай мне тебя обнять.

– А подарок? – спросила она.

– Да вот он, ты держишь его. Это – я сам.

– Хорош подарок! Воробышек хоть куда.

– Хорош ли, иль гадок я, все равно, что могу, то даю, сдаюсь без всяких условий. Делай со мной что хочешь.

– Ты согласен занять нижнюю комнату?

– Свяжи по рукам, по ногам, я твой пленник.

– И ты будешь послушным, позволишь себя любить, водить, журить, баловать, оберегать, унижать?

– Я отрешился от воли своей.

– Ах! Как буду мстить. Ах, старинушка ты мой! Скверный мальчишка! Как ты добр! Старый упрямец! Как ты меня злил!

Она меня обняла, встряхнула, как узел, и прижала к груди, словно куклу. Она и часу ждать не желала. Отправили меня. Флоридор и три поваренка в колпаках

Перевод- Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
бумажных протащили меня по узкой лестнице ногами вперед и запекли в большую постель, в светлой комнате, где Марфа и Глаша меня стали кутать, дразнить, без конца повторять:

– Теперь-то мы держим тебя, держим крепко, держим, попрыгун!

Как славно...

И вот я попался, спрятал гордость свою подальше; Марфы слушаюсь я, старый урод. И, незаметно, Николка Персик все в доме ведет.

* * *

Отныне Марфа часто располагается рядом со мной. И мы беседуем. Вспоминаем мы о другом, давнишнем случае, когда мы так же сидели друг подле дружки. Но тогда не я, а она была за ножку привязана, вывихнув ее как-то ночью (ишь, влюбленная кошка), когда прыгнула из окошка, чтобы бежать за своим любезным. Несмотря на вывих, эх, крепко я выдрал ее. Теперь ее это смешит, она говорит, что я еще недостаточно ее колотил. Но в те дни я тщетно бил, строго берег; однако я не протак; а она была хитрее меня во сто раз и проскальзывала у меня между пальцев. Оказалось, что она не так глупа, как я думал. Что-что, а головы она не потеряла; потерял-то ее, видно, любезный, ибо он ныне муж ее.

Со смехом вспоминает она безумства былые и потом говорит с тяжким вздохом, что прошла пора смеха, что лавры срезаны и уже не ходить ей за ними в лесок. Заговорили мы об ее муже. Как добрая женщина, она находит, что он порядочен, не далек, но и не близок ей. Брак – не забава, говорит она. Все это знают. И ты лучше, чем кто-либо. Нечего делать. А стараться найти любовь в супружестве так же глупо, как решетом воду черпать. Я не шалая, не жалею, что не имею того, что желала бы. Тем, что есть у меня, я довольствуюсь: что есть, то и ладно. Не стоит сетовать... А все же ныне я вижу, как далеко от того, что желаешь, то, что можешь, и от того, о чем гредишь в юности, то, что рад иметь под старость. Это умилительно или смешно: не знаешь, что из двух. Все эти надежды, отчаянья, и пламенность, и томность, и прекрасные эти обеты, и золотые рассветы – все это, все это только огонь, на котором поставишь горшок и сваришь суп! Он вкусен, конечно, для нас он хорош. Но если б тогда я знала... Впрочем, у нас остается всегда, чтоб подсластить обед, наш смех, важная приправа, с нею хоть камни ешь, право. Чудное средство, оно у меня, у тебя всегда под рукой. Состоит оно в том, что ты можешь смеяться сам над собой, коли видишь, что был дураком!

Мы так и поступаем не только по отношению к себе, но и к другим. Порой мы смолкаем, смутно мечтаем, перебираем мысли, я – уткнувшись в книгу, она – в рукоделье свое; но языки под шумок продолжают работать, подобно тому как два ручейка текут под землей и вдруг выходят на солнце, весело прыгая. Марфа прерывает молчанье взрывом хохота; и язычки ну плясать сызнава!

Я попробовал ввести Плутарха в общество наше. Я хотел, чтобы Марфа оценила его чудные сказки и проникновенность чтенья моего. Но мы не имели никакого успеха. Греция и Рим занимали ее столько же, сколько яблоко – рыбу. Даже тогда, когда она и старалась из вежливости слушать, через мгновение мысли ее были далеки и где-то бегали взапуски; или, вернее, обходили дозором снизу доверху дом. В самом трепетном месте рассказа, тогда как искусно я оттягивал миг высшего волнения и подготавливал, дрожащим голосом, блестящую развязку, она прерывала меня, чтобы крикнуть что-нибудь Глаше или Флоридору, находящимся на другом конце дома. Меня брала досада. Я отказывался продолжать. Не следует просить у женщины разделять наши пустые грезы. Женщина половина мужчины. Да, но какая? Верхняя? Или другая? Во всяком случае, не в разуме общность их: у каждого свой короб дури. Подобно двум побегам, выросшим из одного ствола, через сердце они сообщаются.

Не распростился я с миром. Хоть я и седень завялый, обнищальный, искалеченный, однако хватает во мне хитрости на то, чтобы собирать ежедневно вокруг постели моей веселую стражу из юных прекрасных соседок. Приходят они под предлогом важной новости или хозяйственной просьбы. Все предлоги для них хороши: войдя, они их тут же забывают. Словно на рынке, жмутся они – Акулька румяная, Анята шустрая, Сашенька, Дашенька, Пашенька – вокруг тельца на постели; и болтаем мы, ах, кумушки, кумушки, шумно, без умолка, как безумные. Они колокольца, я бурлила-колокол. У меня всегда есть в мешке две-три тонкие сказочки, щекочущие

Перевод – Ромэн Ролан Николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
кошечек за ухом; ах, как они помирают! На улице слышны раскаты их смеха.

И Флоридор, обиженный моим успехом, спрашивает насмешливо, в чем его тайна. Я отвечаю:

– Тайна? Молод я, старина.

– А кроме того, – говорит он с досадой, – многое значит твоя дурная слава. Женщины всегда любят старых пролазов.

– Конечно. Разве не уважают старого воина? Все спешат увидеть его: он, мол, возвращается из страны доблести. А вот эти говорят: Николка совершал поход в страну любви. Он ее знает, он знает нас... И потом – как знать? – быть может, он еще повоюет.

– Старый шалун, – восклицает Марфа, – ишь ты какой! Не вздумал ли ты влюбиться?

– Отчего бы нет? Это – мысль. Раз так, я возьму и женюсь, чтоб вас извести.

– Эй, женись, женись, брат, угомонись. Юность должна ведь пройти!

* * *

Николин день

В день святого Николы я покинул постель и в кресле подкатили меня к окну. Под ногами – грелка. Передо мной – деревянный столик с дыркой для свечки. Около десяти община моряков – “водителей вод” – и рабочих, “товарищей речки”, со скрипками во главе прошествовали мимо дома нашего, взявшись за руки, приплясывая позади жезлоносца. До того как в церковь идти, они обходили кабаки. Увидя меня, они громко меня приветствовали. Я привстал, поклонился моему святому, который ответил мне тем же. Через подоконник пожал я их черные руки, вылил бутылку в воронку их огромных зияющих глоток (капля в море!).

В полдень сыновья мои вчетвером пришли поздравить меня. Можно не ладить друг с другом, однако именины отца – священны: это – ось, вокруг которой сложилась семья; празднуя день этот, они сближаются. Я стою за него.

Итак, в этот день они все четверо собрались у меня. Не очень-то радовала их такая встреча. Они друг друга мало любят, и сдается мне, что я так-таки единственное звено между ними. В наши времена все то исчезает, что могло бы соединять людей: дом, семья, вера; всякий считает, что один прав, и каждый живет для себя. Не подражаю я тем старикам, которые возмущаются и обижаются и думают, что с ними умрет и весь мир. Мир не пропадет; и мне кажется, что молодые знают лучше старых, что им подходит. Но старику невесело. Мир вокруг него меняется; и, коль он сам не изменится, места нет для него! Я же иначе смотрю на вещи. Сижу я в кресле. Что ж, остаюсь я в нем! А если нужно, чтобы место сохранить, мненя свои изменить, изменю их, да; устроюсь всегда, оставаясь (разумеется) все тем же. А пока, сидя в кресле своем, я гляжу на меняющийся мир и на молодцов моих спорящих; люблюсь ими, а меж тем скромно выжидаю, чтобы повести их по своему усмотренью...

Вот они передо мной вокруг стола: Иван-ханжа – справа, слева Антон-гугенот, который в Лионе живет... Сидели они, друг на друга не глядя, задом увязнув и аршин проглотив. Иван, цветущий, полнощекый, с холодными глазами и с улыбкой на губах, говорил нескончаемо о делах своих, хвастался, выставлял богатство свое, успех, выхвалял свои сукна и Бога, ему помогающего их продавать. Антон, бритосый, с козлиной бородкой, хмурый, прямой и бесстрастный, говорил словно про себя, о книжной своей торговле, о путешествиях в Женеву, о своих деловых сношениях и вере и тоже восхвалял Бога, но другого. Каждый говорил по очереди, не слушая песни соседа, замолкал и снова начинал. Но потом оба они, раздраженные, стали обсуждать предметы, которые могли выбить из колеи собеседника, этот – успехи веры истинной, тот – достижения истинной веры. При этом они упрямо продолжали не внимать друг другу; и, неподвижные, словно в воротниках железных, горько и яростно поносили они Бога вражеского.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Между ними стоял, глядел на них, пожимал плечами и громко смеялся мой третий сын, Михаиле, солдат удалый (неплохой он малый). Не мог устоять он на месте и пошел кружить, как волк в клетке; барабаня по стеклам, напевая: ток, ток, а то останавливался, чтобы сглазить спорщиков да расхохотаться им в лицо; или же грубо прерывал их, объявляя, что две жирные овцы, будь они красным или синим крестом отмечены, равно хороши и что им это докажут на деле... “Каких мы только не ели!...”

Анис, последний мой сын, в ужасе глядел на него. Анис, удачно названный, пороха не выдумавший... Споры его тревожили. Ничто на земле не занимает его. Дай ему только спокойно позевывать да скучать с утра до вечера. Посему зовет он орудием дьявола дела государства и веры, изобретенные-де, чтобы тревожить мирный сон умных людей или ум людей сонных... “Дурна ли вещь иль хороша, но раз она у меня, зачем менять? Постель, запечатлевшая вдавленный след тела моего, постлана для меня. Не хочу я новой простыни...”

Но хотел ли он или нет, а тюфяк его потряхивали. И в порыве возмущенья, боясь за свой покой, кроткий человек этот был способен палачу предать всех будил. А пока, растерянный, слушал он разговор остальных; и как только голоса повышались, голова его втягивалась в плечи. Я же, напрягая слух и зрение, забавлялся тем, что разбирал, в чем эти четверо на меня походили. Однако они сыновья мои, за это я отвечаю. Но хоть и вышли они из меня, не вышли они; и как, черт возьми, они в меня забралась? Я себя ошупываю: как мог я носить в чреслах своих вон этого проповедника, этого холопа папского да бешеную овцу? (Оставляю в стороне бродягу...) О природа, предательница! Они, значит, были во мне? Да, я носил в себе их зародыши; узнаю родственные движенья, обороты речи и даже – мышленья; я себя вижу в них преображенным. Но под удивленной личиной человек остается тот же. Тот же – единый и многоликий. Всякий носит в себе двадцать разных людей – смеющегося, плачущего, деревянно-равнодушного и, смотря по погоде, – волка, собаку и овцу, доброго малого и шелопаю, но один из этих двадцати – самый сильный, и, присваивая себе право слова, он может заткнуть глотку остальным. Вот почему те и удирают, когда видят, что дверь открыта. Мои четыре сына так и сделали. Бедняги! Я виноват. Так далеко они от меня и так близко!...

Да что ж! Они как-никак – мои детеныши. Когда говорят они глупости, мне хочется просить у них прощенья за то, что я создал их глупыми. По счастью, они довольны и судьбой и собой!... Пусть, я за них рад. Но не могу я переносить одно – то, что они не могут допускать, чтобы другие уродовали себя, если им это нравится.

Выпрямившись на боднях своих, угрожая взглядом и клювом, они все четверо походили на сердитых петухов, готовых прыгнуть друг на друга. Я безмятежно наблюдал, потом сказал:

– Ладно, ладно, овечки мои, я вижу, что вы себя не дадите остричь. Кровь красна (еще бы? она моя), а голос еще краше. Вдоволь наговорились вы, теперь – мой черед. Язык у меня чешется. А вы отдохните.

Они, однако, не торопились послушаться. Одно слово прорвало грозовые тучи. Иван, вскочив, поднял стул. Михайло обнажил свою длинную шпагу, Антон вынул нож; Анис же ревел благим матом: “Пожар, потоп!” Того и гляди, эти четыре волка друг друга зарежут. Схватил я первый предмет, попавшийся под руку (как раз оказался он, случайно, тем кувшином, который приводил меня в отчаянье, а Флоридора в восторг), и, кокнув им по столу, разбил его вдребезги. Меж тем Марфа, вбежав, размахивала дымящимся котлом и угрожала вылить его им на голову. Заорали они, как стадо ослят; но когда я реву, нет осла, который бы не опустил хвоста.

– Я здесь хозяин, я приказываю. Молчать. Что вы, с ума сошли? Разве мы здесь собрались, чтоб обсуждать символ веры Никея? Я люблю поспорить, еще бы, но попросил бы я вас, друзья, выбирайте предметы поновее. Я устал от этих, смертельно устал. Шут вас дери, обсуждайте, коль ваше здоровье требует того, бургонское это вино иль колбасу – все то, что можно видеть или выпить, тронуть иль съесть: мы выпьем, съедим, чтоб проверить. Но спорить о Боге! О Святом Духе, Господи, – какое скудоумие! Я не порицаю верующих, я верую, мы веруем, вы веруете... во все что угодно. Но поговорим о другом: мало ли что есть на свете! Каждый из вас войдет в рай. Ладно, валяй. Ждут вас там, местечко уготовлено для каждого избранника; остальные же останутся за дверью; верю... Но пускай Господь Бог сам, как хочет, размещает гостей своих: это его дело, и не мешайте вы ему... У всякого царство свое. У Бога – небо, у нас – земля. Украшать ее, коль можно, –

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
вот наш долг. Работников и так не слишком много. Думаете ли вы, что можно обойтись хотя бы без одного из вас? Вы все четверо полезны стране. Она столько же нуждается в твоей вере, Иван, сколько и в твоей, Антон; нужен ей и твой нрав беспокойный, Михаил, и твоя косность, Анис. Вы четыре столба. Подайся один, и весь дом рухнет. Вы остались бы ненужными развалинами. К этому ли вы стремитесь? Рассудительно, нечего сказать! Что подумали бы вы о четырех моряках, которые в море, в непогоду, вместо того чтобы править судном, только бы делали, что ссорились. Помнится мне, слышал я некогда разговор между королем Генрихом и герцогом Неверским. Они оба жаловались на дурь французов, норовящих всегда переколоть друг друга. “Черт им в пузо, – говорил король, – я бы желал, дабы их успокоить, всунуть их в мешок по двое, монаха бешеного и проповедника неистового, да в реку, как котят, кинуть их”.

А герцог, смеясь: “По мне, достаточно было бы отправить их на тот остров, куда, говорят, граждане Берна высаживают мужей и жен сварливых; месяц спустя, когда корабль за ними приходит, они воркуют нежно, как влюбленные голубки”. Вот какое вам нужно лечение! Ворчите, уроды? Спиной друг к другу становитесь? Эй, взгляните на себя, детки. Напрасно каждый из вас думает, что он лучше и краше изваян, чем братец его. Все вы одного помолы. Персики чистые, бургундцы истые...

Стоит только взглянуть на этот большой дерзкий нос, развернувшийся поперек лица, на этот широкий, топором вырубленный рот – воронка для вина, на глаза эти заросшие, которые очень бы хотели казаться злыми, а смеются! Да на вас клеймо! Поймите же, что, вредя друг другу, вы сами себя уничтожаете! У вас образ мыслей разный? Велика важность! Или вы желали бы пахать одно и то же поле? Чем больше у нашей семьи будет полей и мыслей, тем счастливее и сильнее мы будем. Распространяйтесь, умножайтесь и берите все, что можете, от земли и от мысли. У каждого свое, и сплочены все, – ну-ка, сыны, поцелуйтесь, дабы громадный нос Персиков расплетал тень свою через нивы и вдыхал красоту мира!

Они молчали, насупившись, но заметно было, что еще немножко, и они рассмеются. Михаил расхохотался первым и, протянув руку Ивану, сказал:

– Ну-ка, старший носач!

Они обнялись.

– Эй, Марфа, тащи заздравное!

Тут я заметил, что когда я в сердцах разбил кувшин, то порезал себе кисть. На столе алело несколько капель крови. Антон, неизменно торжественный, поднял руку мою, подставил под нее стакан, собрал в нем сок моей жилы и сказал напыщенно:

– Выпьем все четверо из стакана этого, чтобы скрепить наш союз!

– Стой, стой, Антон, не смей портить Божье вино! Фу! Как это противно! Изволь выплеснуть эту бурду. Кто хочет испить самой крови моей, пусть осушит до дна кружку вина!

На сем чокнулись мы и о вкусе питья не спорили.

По уходе моих сыновей Марфа, обвязывая руку мою, сказала мне:

– Старый стервец, добился ты наконец!

– Добился чего? Того ли, что их помирил?

– Я о другом.

– О чем же?

Она указала на стол, на котором лежал разбитый кувшин.

– Ты отлично меня понимаешь. Не притворяйся овечкой... Признайся... ты должен признаться... Ну, скажи на ушко! Никто не узнает...

Я прикидывался удивленным, возмущенным, полоумным, но смех меня разбирал... Я задышался. Она повторила:

– Негодяй, негодяй!

Я сказал:

– Он был слишком уродлив. Послушай, милая дочка: он или я – один из нас должен был сгинуть.

– Тот, который остался, не краше.

– Что до него, он, может быть, гадок. Пускай... Мне все равно. Я не вижу его.

* * *

Сочельник

На петлях своих намасленных вертится год. Дверь закрывается и вновь отворяется. Словно сложенное сукно, падают дни в бархатный ларь ночей. Они входят с одной стороны и выходят с другой, удлиняясь на блошинный прыжок. Сквозь щель я вижу глаза блестящие нового года.

Сиж у большого камина в рождественскую ночь и гляжу как бы со дна колодца ввысь на звездное небо, на его мерцающие веки, на его сердечки дрожащие, и слышу, как близятся колокола, летящие по гладкому воздуху, звонящие к заутрене. Мне любо думать, что Младенец родился в этот поздний час, в этот час темнейший, когда будто мир кончается. Его голосок поет: “День, ты вернешься! Ты грядешь уже. Новый Год, вот и ты!” И надежда теплыми крыльями голубит ночь ледяную и смягчает ее.

Я один в доме; дети мои в церкви. Остаюсь с собакой моею Лимоном и кошкою Потапошкой. Мы грезим и смотрим, как пламя подлизывает под хайло. Вспоминаю вечер недавний. Только что выводок мой был подле меня; я рассказывал Глаше моей круглоглазой волшебные сказки о гадком утенке, о Мальчике с пальчик, о ребенке, что разбогател, петуха продавая тем людям, которые день перевозят в тележках. Очень весело было. Остальные слушали и смеялись, и каждый сказал свое слово. А потом приумолкли, следили кипящую воду, горящие угли и трепет снежинок на стеклах и сверчка под золой. Ах, славные зимние ночи, молчанье, теплый семейный уют, грезы в час бденья, в час, когда ум любит кудесить, но знает это, и если и бредит, то в шутку...

А ныне, что кончился год, подвожу я приход и расход и подмечаю, что за шесть месяцев я все потерял: жену, дом, деньги и ноги свои. Но забавно то, что в конце-то концов я, как прежде, богат. Нет у меня ничего, говорят? Да, нечего больше нести на себе. Легче стало... Никогда не бывал я так бодр и свободен, никогда так легко я не плыл по теченью грезы своей...

Однако кто бы сказал мне в прошлом году, что так весело приму беду! Разве не клялся я, что до гроба хочу оставаться у себя господином единым, твердым и самостоятельным, что только себя должен благодарить я за дом и за пищу и только себе отчет отдавать в своих бреднях!

Судьба решила иначе, а все-таки ладно вышло. И человек в общем – животное кроткое. Все ему нравится. Он приспособляется с одинаковой легкостью к счастью, к скорби, к скоромному, к постному. Дай ему четыре ноги или две отними, лиши его слуха, зренья, голоса, – он все-таки как-то устроится так, чтобы видеть, слышать иль говорить. Он словно воск растяжимый и сжимчивый. И сладостно знать, что в уме и в ногах есть у тебя эта гибкость, что можешь быть рыбой в воде, птицей в воздухе, саламандрой в огне, а на земле – человеком, воюющим весело со всеми стихиями. Так, чем беднее ты, тем ты богаче, ибо душа создает все, что хочет иметь: широкое дерево по обрезании веток выше растет. Чем меньше имею, тем больше я сам.

Полночь. Бьют часы.

“Он родился, младенец божественный”.

Перевод- Ромэн Ролан николка Персик. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Я распеваю:

“Играйте, гобои, звените, волынки!

Как прекрасен и нежен Христос”.

Дремота долит. Я засыпаю, плотно усевшись, чтобы в очаг не упасть.

Звените, волынки, играйте, гобои бойкие.

Он родился, Младенец Иисус.

* * *

Крещение

Однако, я крупно шучу! Ибо чем меньше имею, тем больше есть у меня. И я это твердо знаю. Удастся мне, нищему, быть богачом: богатство – чужое. Что говорят мне о дряхлых отцах, разграбленных, все, все отдавших – портки и рубашку – детям своим бессердечным и ныне забытых, покинутых всеми, чующих тысячу рук, их толкающих в яму могильную? Вот, уж правда, неловкие! Никогда не бывал я, ей-ей, так ласкаем, любим, как в дни моей бедности. Дело в том, что не отдал я сдуру всего, а кое-что все же сберег. Не только ведь денежки можно отдать. Я-то, отдав их, самое лучшее крепко держу – веселость мою, все, что собрал за полвека жизни шатучей, а набрал я немало хорошего, радости, хитрости, мудрости шалой, безумия мудрого. И еще мой запас не иссяк, мешок мой для всех открываю: берите пригоршнями, так! Разве это пустяк? Коли дети мне дарят свое, я тоже дарю – поверстались! И если иной дает меньше других, что ж – любовь доплатит недоимку; и жалоб не слышно.

Смотрите, вот он, бесцарственный царь, Иоанн Безземельный, счастливый мерзавец, вот он, Персик из Галлии, вот он сидит на престоле, управляя пиром греющим!

Сегодня Крещение: днем проходили по улице нашей три волхва, и их свита, белое стадо, шесть пастушков, шесть пастушек, и, шествуя, пели они; и собаки брехали. А ныне вечером все мы сидим за столом, все дети мои и детища детиц моих. Всех нас за ужином две с половиною дюжины, и все тридцать кричат:

– Пьет король!

А король – это я. Мой венец – горшок тестяной. Королева же Марфа: я, как в Писании, женился на дочери. Всякий раз, что стакан подношу я к губам, меня чествуют, я хохочу и глотаю с попершкой... но все же глотаю, ничего не теряю. Королева моя тоже пьет и, грудь оголив, сует свой красный сосок детенышу красному в рот. И пьет гологузый слютяйчик, последний мой внук. И пес под столом из миски лакает и тявкает; и кот, гудя и кобенясь, удирает с костью.

И думаю я (громко: не люблю я думать про себя):

– Жизнь хороша. Ах, друзья! Ее недостаток единственный тот, что она коротка: платишь много, дают недостаточно. Вы скажете мне: “Будь доволен: твоя часть хороша, и ты ее съел”. Не отрицаю. Но съел бы я вдвое. И как знать! Может быть, если не буду кричать слишком громко, получу я второй кусок пирога... Грустно лишь то, что хоть я и в живых, столько добрых малых пропали бесследно, увы! Боже, как годы проходят, а с ними и люди! Где король Генрих и добрый наш герцог Людовик?

И вот отправляюсь по дорогам былого собирать цветочки завялые воспоминаний; и я пью, и я вью свои сказки, не устаю, пересказываю. Мне дети мои не мешают болтать, и порою, когда нахожу я не сразу нужное слово или запутываюсь, они мне тихонько подскажут конец; и тут я очнусь от мечтаний своих, окруженный глазами любовно-лукавыми.

– Да что, старина (говорят мне они), хорошо было жить в двадцать лет? У женщин тогда была грудь и полней и прекрасней, у мужчин было сердце и все остальное – на месте. Стоило только взглянуть на Генриха и на его куманька Людовика! Нет больше изделий из этого дерева...

Я отвечаю:

– Черти, смеетесь вы? Что же, вы правы, смеяться полезно. Не глуп я, не думаю я, что нет винограда у нас иль молодцов, чтоб его собирать. Я знаю: когда уходит один, приходят трое, и дуб, из которого строят галлов, удалых ребят, растет все по-прежнему прямо, и густо, и крепко. Дерево то же, но ныне изделие другое, саженой сколько б вы ни рубили, никогда не создастся король мой Генрих иль герцог Людовик. А их-то любил я.. Стой, стой, Николка, чего распускаешь ты нюни! Слезы? Ах, дурень, неужто ты станешь жалеть о том, что не можешь всю жизнь пережевывать тот же все кус? Изменилось вино? Вкусно оно все равно. Будем пить! Да здравствует залпом пьющий король! Да здравствует также народ. Погреб его!..

И то: по правде сказать, дети мои, хоть добрый король и хорош, а лучше все же – я сам. Будем свободны, французы милые, и пошлем пастухов наших травку щипать! Я да земля – мы любим друг друга, ничего нам не нужно. На что мне король – на земле иль на небе? У каждого пядь земли и руки, чтоб ее разворачивать.

Вот твое место на солнце, вот твоя тень. Есть у тебя десятина, есть и руки, чтобы сеять, пахать! Что же еще тебе нужно? И если король бы вошел ко мне, я бы сказал:

“Ты мой гость. За здоровье твое! Садись. Ты, брат, не один. Всякий француз – властелин. И я, твой слуга, у себя господин”.

1922

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!